

Г. К. ЧЕСТЕРТОН
АНАТОЛЬ
ФРАНС



БРЭДБЕРИ

РЭЙ



КРИСТОФЕР
МОРАИ

АНОРЕ МОУРА

Уильям
Сарджант



УИЛСОН
ТАКЕР



Этефан
ЛИБЕВИ

ЛУЧЕЗАРНЫЙ
ФЕНИКС



СТАНИСЛАВ

ЖЕН

Карел

ЧАПЕК



ЭТО
АЛЕКСАНДР

РОМЕН
РОЛЛАН



АЙЗЕК
АЗИМОВ

КЕСТНЕР

ЭРИХ ВАЛБТЕР

КАУЭР

АУГСТАЙН



РОАД

ДАА



МАРК
ТВЕН

ОТЕНЕР

ЧАРЛЗ ЧЕС



КНИГА

1979

1р. 20к.

СИГИЗМУНД

РАДЕЦКИ



ЖАК БЭР



Конрад Фиалковский





ЛУЧЕЗАРНЫЙ
ФЕНИКС
Зарубежные
писатели
о
книге,
чтении
и
библиофильстве
XX
век
Составил
Р.Л. Рыбкин
Москва
КНИГА
1979

Это практически первая в наши дни в нашей стране антология рассказов о книге. Грани темы — читатель и книга, писатель и книга, книга и будущее.

Перед нами развернут читательский спектр — от страстных библиофилов А. Франса до пресыщенных спобов Чесната. От одержимого Менделя-букиписта С. Цвейга, за своими журналами и каталогами не замечающего трагических катаклизмов XX века, — до наших потомков, которые могут оказаться лишены счастья быть читателями, как предостерегает А. Азимов.

О странностях и парадоксах рождения книги, о своеобразном преломлении реальной жизни в воображении писателя — порой юмористические, порой сатирические рассказы К. Чапека, Ж. Бара, К. Морли, Э. Анрио.

Заключает сборник группа рассказов о книге воинствующей, борющейся. Автобиографические строки Э. Кестнера, чьи книги в 1933 году жгли на площади молодчики Геббельса, — и фантастический рассказ Р. Брэдли, словно предостерегающий от повторения мрачных фашистских насилий над культурой в будущем. Рассказы утверждают торжество мужественной, гуманистической книги, бессмертие книги.

Составление, перевод на русский язык.

© Издательство «КНИГА», 1979

Р $\frac{70304-054}{002(01)-79}$ 1.79.

4703000000

СОДЕРЖАНИЕ

АНАТОЛЬ ФРАНС ЛЮБОВЬ К КНИГАМ

Перевела с французского Е. Любимова
5

ГИЛБЕРТ К. ЧЕСТЕРТОН О ЧТЕНИИ

Перевела с английского Н. Трауберг
15

РОМЕН РОЛЛАН ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ЗАМЕТКИ

Перевела с французского Л. Коган
19

ЛУИДЖИ ЛУКАТЕЛЛИ МЕЧТА МАЛЫША

Перевела с итальянского Е. Костюкович
25

СТЕФАН ЦВЕЙГ МЕНДЕЛЬ-БУКИНИСТ

Перевела с немецкого П. Бернштейн
31

ЧАРЛЗ ЧЕСНАТ ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ

Перевела с английского В. Лимановская
55

СТАНИСЛАВ ЛЕМ «DO YOURSELF A BOOK»

Перевела с польского Т. Казавчинская
69

ВАЛЬТЕР КАУЭР ЧЕЛОВЕК С ТОЛКОВЫМ СЛОВАРЕМ

Перевел с немецкого Е. Факторович
75

АЙЗЕК АЗИМОВ КАК ОНИ ВЕСЕЛО ЖИЛИ

Перевела с английского Е. Костюкович
81

АНДРЕ МОРУА КНИГИ

Перевел с французского Г. Шипгарев
87

О РОМАНАХ

Перевела с французского Т. Савицкая
93

КАРЕЛ ЧАПЕК ПОЭТ

Перевела с чешского Т. Аксель
95

**КРИСТОФЕР МОРЛИ
БРАТЬЯ-ПИСАТЕЛИ**

Перевела с английского В. Лимаповская
103

**ЖАК БЭР
НИКОГДА БЫ НЕ ПОДУМАЛ**
Перевела с французского Е. Лившиц
109

**ЭМИЛЬ АНРИО
НЕДОВОЛЬНЫЕ ГЕРОИНИ**
Перевела с французского В. Гицбург
115

**УИЛСОН ТАКЕР
MCM LV**
Перевела с английского О. Базовская
125

**МАРК ТВЕН
ЭПИДЕМИЯ**
Перевела с английского В. Лимаповская
141

**РОАЛД ДАЛ
ЧУДЕСНЫЙ ГРАММАТИЗАТОР**
Перевела с английского С. Васильева
145

**О'ГЕНРИ
ЖЕРТВА НЕВПОПАД**
Перевела с английского Н. Галь
163
**СИГИЗМУНД РАДЕЦКИ
УШЕДШИЕ ТВОРЕНИЯ**
Перевел с немецкого Е. Факторович
171

**УИЛЬЯМ САРОЯН
КНИГИ, МОИ ДЕТИ И Я**
Перевел с английского Р. Рыбкин
177

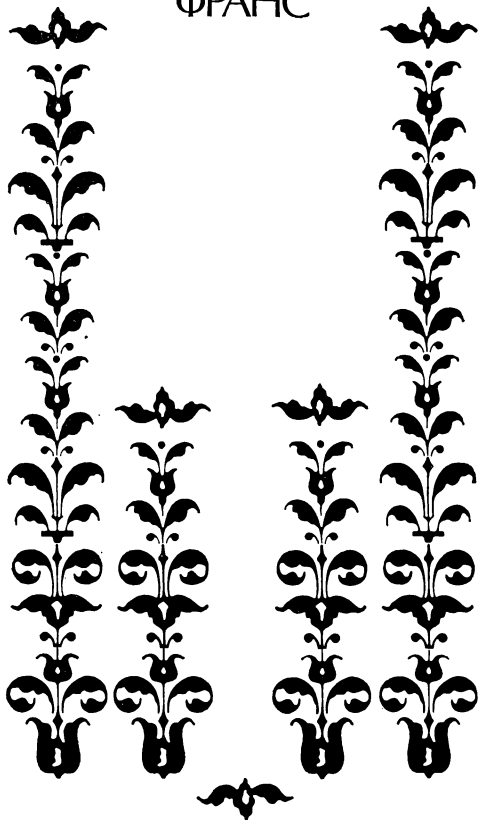
**ЭРИХ КЕСТНЕР
ПРОСМАТРИВАЯ СВОИ КНИГИ**
Перевел с немецкого Е. Факторович
185

**КОНРАД ФИАЛКОВСКИЙ
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ**
Перевела с польского А. Громова
189

**РЭЙ БРЭДБЕРИ
ЛУЧЕЗАРНЫЙ ФЕНИКС**
Перевела с английского Н. Галь
197

О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ
Перевела с английского Н. Галь

АНАТОЛЬ
ФРАНС



Анатоль Франс
Anatole France
(псевдоним Анатolia Франсуа Тибо)
1844—1924

Французский писатель.
В 1921 г. удостоен Нобелевской премии.
Произведения А. Франса широко известны
за пределами его родины;
у нас в стране
только в послевоенные годы
вышло несколько собраний
его сочинений.

ЛЮБОВЬ К КНИГАМ

На своем веку я знал множество библиофилов и убежден, что любовь к книгам делает сносной жизнь иных добрых людей. Без некоторой доли чувственности настоящей любви не бывает. Книги приносят счастье лишь тому, кто испытывает наслаждение, лаская их. Я с первого взгляда узнаю настоящего библиофила по тому, как он дотрагивается до книги. Тот, кто, положив руку на какую-нибудь ценную, редкую, приятную на вид или хотя бы заслуживающую почтения старую книгу, не сжимает ее нежной и в то же время твердой рукой, не поглаживает ласково и сладострастно ее корешок, ее обрез, тот никогда не обладал тем инстинктом, который создает Гролье или Дублей¹. Он может сколько угодно твердить, что любит книги, — мы ему не поверим. Мы ответим ему: вы любите их, потому, что они приносят пользу. Но разве это значит любить? Разве может любить тот, кто равнодушен? Нет! В вас нет ни пыла, ни радости, и вы никогда не узнаете, как приятно гладить трепетной рукой прелестные ворсинки сафьяна.

Мне вспомнились два старичка-священника², которые любили книги и которые в этом мире не любили больше ничего. Один из них — каноник — жил недалеко от Собора Парижской Богоматери; в его маленьком тельце жила нежная душа. Это маленькое кругленькое тельце было создано для того, чтобы в нем укрывалась и пряталась душа каноника. Он задумал написать «Жития бретонских святых» и жил счастливо. Другой, викарий одного бедного прихода, был выше его, красивее и печальнее. Окна его комнаты выходили на набережные, и каждый божий день он видел лавки букинистов. Их миссия на земле заключалась в том, чтобы засовывать в карманы своих сутан старинные книги в переплетах из телячьей кожи и с красными обрезами. Занятие, несомненно, невинное, скромное и вполне соответствующее

1

Гролье де Сервье, Жан (1479—1565) — известный французский библиофил. Дубль, Жозеф Луи Леопольд (1812—1881) — известный библиофил и коллекционер. (Здесь и далее — примечания переводчика).

2

Речь идет о друзьях Франса — священниках Треву и Ле Блатье.

образу жизни служителей алтаря. Я сказал бы даже, что рыться в книгах, выставленных на парапетах, менее опасно, нежели созерцать природу в полях и лесах. Что бы там ни говорил Фенелон³, в природе назидательного мало. Ей недостает целомудрия, она провозглашает борьбу и любовь; она втайне сладострастна; она опьяняет нас множеством тончайших запахов: мы чувствуем, что нас осыпают поцелуями, обдают горячим дыханием. Даже в ее покое — возжелание. У некоего поэта, остро чувствующего атмосферу сладострастия, были все основания сказать:

Беги лесов, их тишины глубокой⁴.

Прогулка по набережным от одной распродажи к другой не таит в себе ни малейшей опасности такого рода: старинные книги не смущают сердце. Если иные из них и повествуют о любви, то повествуют языком былых времен, вышедшим из употребления шрифтом и одновременно наводят мысли и о любви, и о смерти. Мой каноник и мой викарий совершенно правильно делали, проводя большую часть нашей скоропреходящей жизни между Королевским мостом и мостом Сен-Мишель. Их взору чаще всего представлялись золотые цветочки, которыми переплетчики XVIII века украшали корешки переплетов из телячьей кожи, помещая их между полукольцами корешка. И, несомненно, это более невинно, нежели лилии полевые: они не трудятся и не прядут⁵, но они любят, и мотыльки заставляют трепетать их прелестные, таинственные венчики. О да, каноник и викарий были святыми людьми! Я думаю, что ни у того, ни у другого никогда не промелькнуло ни единой дурной мысли.

За каноника я отдал бы руку на отсечение: он был жизнерадостен. В семьдесят лет у него были и душа, и щеки маленького ребенка. Золотые очки никогда не сидели на более бесхитростном носу и не помогали видеть более чистым глазам. Викарий, с его длинным носом и впалыми щеками, пожалуй, был святым; каноник же, конечно, был праведником. Однако и этот святой, и этот праведник не были лишены чувственности. Они смотре-

3
Фенелон, Франсуа (1651—1715) — французский архиепископ, писатель, академик. Воспитывал внуков Людовика XIV.

4
Строка из «Колокольчика» Лафонтена.

5
Слова из Евангелия от Матфея.

ли на свишную кожу переплетов с вождением, они ощущали желтую телячью кожу со сладострастием. Это не значит, что радость и гордость они находили в том, чтобы оспаривать у владык в мире библиофилов первые издания французских поэтов, переплеты, изготовленные для Мазарини или для Каневари⁶, иллюстрированные издания в двух-трех частях. Нет, они были счастливы в своей бедности, веселы в своем смиреннии. Даже в свое пристрастие к книгам они вносили суровую простоту своей жизни. Они покупали только скромные издания в скромных переплетах. Они охотно собирали сочинения старых богословов, уже никому не нужные. Они с наивной радостью отбирали для себя те раритеты, к которым обычно относятся пренебрежительно, — ими набиты лавки опытных букинистов и цена им десять су. Они были довольны, когда им удавалось отыскать «Историю париков» Тьера или «Шедевр неведомого человека» г-на доктора наук Кризостома Матаназисуса. Сафьян они представляли сильным мира сего. Их желания утоляли зернистая телячья кожа, желтая телячья кожа, баранья кожа и пергамент, однако это были горячие желания — в них были и пламя, и острота: это были те самые желания, которые христианская символика средних веков изображала в церквях в виде бесенят с птичьими головами, с козлиными копытами и с крыльями летучей мыши. Я видел, видел, как г-н каноник любовно поглаживает прекрасный экземпляр книги «Жития отцопустынников» в переплете из зернистой телячьей кожи. Это грех. И усугубляет вину каноника то, что книга это янсенистская⁷. Что же касается викария, то в один прекрасный день он получил в подарок от некоей старой девы экземпляр эльзевировского издания «Подражания Христу»⁸, переплетенный в пурпурное сукно, на кото-

6

Деметрио Каневари — врач папы Урбана VIII. Изготовленные для него переплеты с изображением Аполлона на колеснице славились в Италии во второй половине XVI в.

7

Янсенизм — учение, основанное голландским богословом Корнелием Янсением. Янсенисты отрицали свободную волю человека. Подвергались преследованиям официальной католической церкви.

8

Сочинение немецкого монаха Фомы Кемпийского (1380—1471). О нем с большой похвалой отзывался Пушкин в статье «Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико».

ром благочестивая дарительница собственноручно вышпила золотую церковную чашу. Он покраснел от гордости и от удовольствия и воскликнул: «Это подарок, который оказал бы честь самому господину де Боссюэ!»⁹ Мне хочется думать, что и мой викарий, и мой каноник обрели спасение и пребывают ныне одесную Отца. Но за все приходится расплачиваться, и в Книге Ангела¹⁰,

In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur,¹¹

записаны и грехи викария, и грехи каноника. И кажется мне, что я читаю в этой Книге книг:

«Такого-то числа, на набережной Вольтера, г-н каноник получил наслаждение от ласковых прикосновений. Такого-то числа вдыхал ароматы в книжной лавке на набережной Великих Августинцев... Г-н викарий — «Подражание», Эльзевир, малое издание in-octavo: гордыня и вожделение».

Вот что, вне всякого сомнения, написано в Книге Ангела, которая будет прочитана в день Страшного суда.

Ах, добрый викарий! Ах, чудесный каноник! Сколько раз видел я, как они рыскали по лавкам на набережных! Если вам попадался один из них, вы могли быть уверены, что вскоре набредете и на другого. А между тем они отнюдь не искали встреч; скорее они избегали друг друга. Приходится признаться, что они чуточку друг друга ревновали.

Да и как могло быть иначе, коль скоро охотились они на одних и тех же землях? Каждый раз, как они встречались, — иными словами: ежедневно, — они обменивались длительными и чрезвычайно ласковыми приветствиями, а сами в это время зорко следили друг за другом, и каждый пронизывал взглядом карман другого, набитый книгами. Да и по натуре это были совсем разные люди. Благостное и простодушное мировоззрение каноника не

9

Боссюэ, Жак Бенинь (1627—1704) — знаменитый французский проповедник и церковный деятель, отличавшийся веротерпимостью. Его сочинения — замечательный образец французской прозы XVII в.

10

Имеется в виду «книга, запечатанная семью печатями», о которой идет речь в Апокалипсисе.

11

...В которой записано все,
В чем должен покаяться мир... (лат.)
Строки взяты из Реквиема.

могло удовлетворить викария, чью душу раздирали противоречия и ученые споры. Каноник уже здесь, на земле, вкушал мир, обещанный тем, кто чист сердцем. Викарий же, подобно блаженному Августину и великому Арно¹², подставляя чело свое бурям. Он столь свободно высказывался о его высокопреосвященстве, что доброго каноника, несмотря на теплый жилет, мороз подирал по коже.

Каноник не был создан для трудностей. Однажды я встретил его очень удрученным. Дело было перед зданием Института; шел короткий мартовский дождь со снегом. Во мгновение ока налетел шквал, и порыв ветра снес в Сену брошюры и карты, разложенные на парапетах. Кроме того, он унес и большой красный зонт каноника. Мы видели, что он взлетел на воздух, потом упал в реку. Каноник никак не мог успокоиться. Он призывал всех бретонских святых и обещал десять су тому, кто вернет ему зонтик. А зонт тем временем мирно плыл по направлению к Сен-Клу. Через четверть часа произошло, и под лучами солнышка этот милейший служитель алтаря, с еще не высохшими глазами, но с улыбкой на устах, покупал у папаша Мароле старинное издание Лактанция¹³ и радовался, читая фразу, набранную красивым альдовским курсивом: *Pulcher hymnus Dei homo immortalis*¹⁴. Альдовский курсив заставил его забыть об утрате зонтика.

В ту же пору мне доводилось встречать на набережных некоего еще более странного библиомана. Он взял себе за правило вырывать из книг те страницы, которые ему не нравились, и, так как он обладал тонким вкусом, в его библиотеке не осталось ни единого целого тома. Его собрание книг состояло из клочков и обрывков, для которых он заказывал великолепные переплеты. У меня есть основания ни в коем случае не называть его имени, хотя он давно уже умер. Те, кто знал его, поймут, о ком речь, если я скажу, что сам он был автором роскошно изданных, хотя и странных книг о нумизматике, которые выходили отдельными изданиями. Подписчиков было не-

12

Арно, Антуан (1612—1694) — французский богослов-янсенист.

13

Лактанций (? — 325) — выдающийся христианский писатель и оратор, прозванный «христианским Цицероном».

14

Бессмертный человек — это прекрасный гимн богу (лат.).

много; к их числу принадлежал некий одержимый собиратель книг — полковник Морен, имя которого пользуется громкой известностью среди знатоков. Он подписался первым и весьма аккуратно являлся за каждой книгой, как только она выходила из печати. Но однажды он должен был отправиться в какое-то довольно долгое путешествие. Вышеупомянутый книголюб узнал об этом. Он тотчас выпустил следующее издание и разослал подписчикам таковое уведомление: «Все экземпляры последнего издания, не выкупленные подписчиками в двухнедельный срок, будут уничтожены». Он очень рассчитывал, что полковник Морен не сумеет вернуться к этому времени и выкупить свой экземпляр. В самом деле, это было невозможно. Однако полковник совершил невозможное, и на шестнадцатый день явился к автору-издателю в ту самую минуту, когда тот бросил этот экземпляр в огонь. Между двумя собирателями книг завязалась борьба. Победителем вышел полковник: он вытащил листки из пламени и торжественно принес их на улицу Буланже к себе домой,— там он нагромождал всевозможные обломки протекших веков. У полковника были саркофаги, лестница Латюда¹⁵, камни Бастилии. Он принадлежал к тем людям, которые непрочь засунуть вселенную в шкаф. Это мечта любого коллекционера. А так как мечта эта неосуществима, то настоящие коллекционеры, подобно влюбленным, даже в счастье обретают бесконечные страдания. Они прекрасно понимают, что им никогда не удастся запереть земной шар на ключ в своей витрине. Отсюда их глубокая меланхолия.

Я был знаком также и с крупными библиофилами — с теми, кто собирает инкунабулы¹⁶, скромные памятники ксилографии XV века и для кого «Библия бедных» с ее аляповатыми картинками таит в себе большее очарование, нежели все красоты природы и все чудеса искусства, вместе взятые; с теми, кто коллекционирует книги в царски-роскошных переплетах, изготовленных для Генриха II, Дианы де Пуатье и Генриха III, штемпеля и

15

Латюд, Жап-Апри (1725—1805) — французский авантюрист, в 1749 г. посаженный в Бастилию за интриги против фаворитки Людовика XV маркизы де Помпадур. 25 февраля 1756 г. ему удалось бежать с помощью самодельной деревянной лестницы и веревки с узлами.

16

Инкунабулы — букв.: колыбель, происхождение, начало (*лат.*), т. е. первоиздания, книги, издаваемые до 1500 года.

ролики для тиснения XVI и XVII веков, которые в наше время Мариус воспроизводит, придавая им правильные линии, несвойственные оригиналам; с теми, кто стремится стать обладателем сафьянных переплетов с гербами принцев и королей; с теми, наконец, кто охотится за прижизненными изданиями наших классиков. Я мог бы парисовать вам портреты некоторых из них, но думаю, они были бы для вас не так заняты, как портреты моего бедного викария и моего бедного каноника. С книголюбями дело обстоит точно так же, как и со всеми людьми на свете. Нас интересуют отнюдь не самые одаренные и ученые из них, а смиренные и чистые сердцем.

И потом — сколь бы ни были красивы и изящно изданы тома, которыми наслаждаются книголюбцы, сколь бы ни восторгались они какой-то книгой, будь это даже «Гирлянда Жюли»¹⁷, искусно переписанная Жарри, — все же есть нечто такое, что я ставлю выше этого: бочка Диогена. В ней вы свободны, тогда как книголюб — раб своих собраний.

Мы сейчас создаем слишком много библиотек и музеев. Наши отцы меньше нас занимались подобными делами и лучше нас чувствовали природу. Г-н Бисмарк имеет обыкновение подкреплять свои аргументы такими словами: «Господа, я высказал вам соображения, которые внушены мне не зеленым сукном моего стола, а зеленой природой». Этот образ, несколько странный и примитивный, полон силы и сочности. Я, во всяком случае, бесконечно высоко ценю его. Хорошие мысли — это мысли, которые внушает нам живая природа. Собирать коллекции — хорошее занятие, но прогулки еще лучше.

Со всем тем я признаю, что пристрастие к хорошим изданиям и красивым переплетам — это пристрастие человека порядочного. Я чту людей, которые хранят прижизненные издания наших классиков — Мольера, Лафонтена, Расина, — столь благородные ценности составляют славу дома.

Но, за неимением этих редкостных и превосходных изданий, вы можете довольствоваться великолепной кни-

17

Жюли — дочь хозяйки парижского литературного салона маркизы Катрин де Рамбулье, посещаемого крупнейшими писателями первой половины XVII в. В 1638 г. герцог де Монтозь, жених Жюли, преподнес ей альбом под названием «Гирлянда Жюли». На каждой странице альбома был парисован цветок, а под ним написан мадригал. Авторами мадригалов были посетители салона, среди них — Корнель.

гой, в которой г-н Жюль Ле Пти весьма подробно их описывает и помещает факсимиле их титульных листов. Здесь представлены первые издания всей нашей литературы, начиная с «Романа о Розе»¹⁸ и кончая «Полем и Виргинией»¹⁹. Этот сборник нельзя перелистывать без волнения. «Так вот какими впервые представились взору современников «Письма провинциала»²⁰ и «Басни» Лафонтена! — говорите вы. — А этот томик in-quarto с широкой виньеткой, изображающей пальму в рамке стиля Возрождения, — это «Сид»²¹ — такой, каким он появился в 1637 году у парижского книгопродавца Огюстена Курбе, в маленьком зале Пале-Рояля, под вывеской, на которой красовалась пальма, и с девизом: *Curvata revirgo*²². А эти шесть волюмов in-duodecimo²³, заглавие которых, разделенное гербом в стиле Людовика XV, составлено таким образом: «Письма двух влюбленных, живших в городке у подножия Альп, собранные и напечатанные Ж.-Ж. Руссо в Амстердаме у книгоиздателя Марка-Мпшеля Рэ, 1761», — это «Новая Элоиза» в том виде, в каком она заставляла плакать наших прабабушек. Вот что видели, вот что держали в руках современники Жан-Жака! Такие книги — это реликвии, и есть нечто волнующее в их облике, который показывает нам г-н Жюль Ле Пти. Этот почтенный человек совершенно примирил меня с библиофилами. Признаем же, что любви без фетишизма не бывает, и отдадим справедливость влюбленным в старую, испещренную типографскими знаками бумагу: они точно такие же безумцы, как все влюбленные.

18

Наиболее выдающееся произведение аллегорической поэзии средневековья, созданное рыцарем Гильомом де Лорисом и ученым горожанином Жаном Клопинелем, называемым обычно Жаном де Мен (XIII в.).

19

Идиллический роман Ж. Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814).

20

Сочинение Блеза Паскаля (1623—1662), знаменитого французского физика и христианского мыслителя.

21

Знаменитая трагедия Пьера Корнеля (1606—1684).

22

Выпрямляю согбенное (лат.).

23

В двенадцатую долю листа (лат.).



Г. К. ЧЕСТЕРТОН

Гилберт Кит Честертон
Gilbert K. Chesterton
1874—1936

Английский писатель, критик и журналист.
Романы Честертона
и серия новелл о «патере Брауне»
(многие из них уже известны советскому читателю)
построены на острой, занимательной интриге,
изобилуют парадоксами,
часто представляют собой своеобразные памфлеты,
направленные против правящих кругов Англии.

Главный прок от чтения великих писателей не имеет отношения к литературе; он не связан ни с великолепием стиля, ни даже с воспитанием наших чувств. Читать хорошие книги полезно потому, что они не дают нам стать «истинно современными людьми». Становясь «современными», мы приковываем себя к последнему пред-рассудку; так, потратив последние деньги на модную шляпу, мы обрекаем себя на старомодность. Дорога столетий усеяна трупами «истинно современных людей». А литература — вечная, классическая литература — непрерывно напоминает нам о немодных истинах, уравнивающих те новые взгляды, которым мы могли бы поддаться.

Время от времени (особенно в беспокойные эпохи вроде нашей) на свете появляются особые веяния. В старину их звали ересями, теперь зовут идеями. Иногда они хоть чем-нибудь полезны, иногда — целиком и полностью вредны. Но всегда они сводятся к одной правде, или, точнее, полуправде. Так, можно говорить, что бог всеведущ; но тот, кто подобно Кальвину, забудет ради этого о его любви, впадает в ересь. Можно стремиться к простой жизни, но не стоит забывать ради нее о радости или о вежливости. Еретики (или фанатики) — не те, кто любит истину слишком сильно. Истину нельзя любить слишком сильно.

Еретик тот, кто любит свою истину больше, чем Истину. Он предпочитает полуправду, которую отыскал сам, правде, которую отыскали люди; он ни за что не хочет понять, что его драгоценный парадокс связан с дюжинами общих мест и только все они, целиком, составляют мудрость мира.

Иногда такие люди суровы и просты, как Толстой; иногда — по-женски болтливы и чувствительны, как Ницше; иногда — умны, находчивы и отважны, как Шоу. Они всегда возбуждают интерес и нередко находят последователей. Но всегда и всюду в их успех вкрадывается одна и та же ошибка. Все думают, что они открыли что-то новое. На деле же нова не сама идея, а полное отсутствие других, уравнивающих ее идей. Очень может быть, что ту же самую мысль мы найдем во всех великих, классических книгах от Гомера и Вергилия до Филдинг и Диккенса; только там она — на своем месте, другие мысли дополняют ее, а иногда опровергают. Великие писатели не отдали должного нашим модным поветриям не потому, что до них не додумались, а потому, что додумались и до них, и до всех ответов на них.

Если это все еще не ясно, приведу два примера. Оба они связаны с тем, что модно сейчас и в ходу среди смелых, современных людей. Всякий знает, что Ницше проповедовал учение, которое и сам он, и все его последователи считали истинным переворотом. Он утверждал, что привычная мораль альтруизма выдумана слабыми, чтобы помешать сильным взять над ними власть. Не все современные люди соглашались с этим, но все считают, что это ново и неслыханно. Никто не сомневается, что великие писатели прошлого — скажем, Шекспир — не исповедовали этой веры потому,

что до нее не додумались. Откройте последний акт «Ричарда III» и вы найдете не только все нищепланство — вы найдете и самые термивы Ницше. Ричард-горбун говорит вельможам:

Что совесть? Измышление слабых духом,
Чтоб сильных обуздать и обессилить.

Шекспир не только додумался до нищепланского права сильных — он знал ему цену и место. А место ему — в устах полоумного калеки накануне поражения. Ненавидеть слабых может только угрюмый, тщеславный и очень большой человек — такой, как Ричард или Ницше. Да, не надо думать, что старые классики не видели новых идей. Они видели их; Шекспир видел нищепланство, он видел его насквозь.

Приведу другой пример. Бернард Шоу в своей блистательной и честной пьесе «Майор Барбара» бросает в лицо прописной морали один из самых яростных вызовов. Мы говорим: «Бедность не порок». Нет, отвечает Шоу, бедность — порок, мать всех пороков. Преступно оставаться бедным, если можешь забунтоваться и стать богатым. Тот, кто беден, — малодушен, угодлив или подл. По некоторым признакам, и Шоу и многие его поклонники отводят этой идее большую роль. И, как обычно, нова эта роль, а не идея. Еще Бекки Шарп говорила, что не трудно быть хорошей на 1000 фунтов в год и так трудно на 100 фунтов. Как и в предыдущем случае, Теккерей не только знал такой взгляд — он знал ему цену. Он знал, что это придет в голову умному и довольно искреннему человеку, совершенно не подозревавшему обо всем том, ради чего стоит жить. Цинизм Бекки, уравновешенный леди Джен и Доббияном, по-своему остроумен и поверхностно правдив. Цинизм Андершффта¹ и Шоу, провозглашенный со всей серьезностью проповеди, просто неверен. Просто неверно, что очень бедные люди подлее или угодливее богатых. Полуправда остроумной Бекки стала сперва причудой, потом поветрием и наконец — ложью.

И в первом и во втором случае можно сделать один и тот же вывод. То, что мы зовем «новыми идеями», чаще всего — осколки старых. Не надо думать, что та или иная мысль не приходила великим в голову; она приходила и находила там много лучших мыслей, готовых выбить из нее дурь.



**РОМЕН
РОЛЛАН**



Ромен Роллан
Romain Rolland
1866—1944

Известный французский романист,
драматург, музыковед.
В 1916 г. Роллан был удостоен
Нобелевской премии по литературе.
Произведения Роллана широко переводились
на языки других народов,
творчество его хорошо известно
у нас в стране
(романы «Жан-Кристоф», «Кола Брюньон», «Клерамбо»,
«Пьер и Люс», «Очарованная душа»,
биографии Бетховена, Микеланджело, Толстого,
статьи, воспоминания и др.).

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ЗАМЕТКИ

Я открыл для себя Толстого в конце марта 1886 года.

Мое восторженное изумление отразилось в дневниковых записях, сделанных той весною, при чтении «Войны и мира». Я взялся за первый том с тайным предубеждением против автора, и первые страницы не заинтересовали меня. Но мало-помалу я проникся переживаниями героев. Меня потрясла правдивость их изображения. Некоторые из них целиком захватили меня; я был повержен, пленен и брошен вместе с ними в могучий водоворот жизни. Приступая ко второму тому, я уже не отделял себя от них: они были моим вторым «я», я был ими. Я утратил способность о них судить. Ни одно произведение никогда не покоряло меня столь бесповоротно... Я оказался связан по рукам и ногам...

Я восхищался художником. В лучших французских романах, известных мне до того, все вращалось вокруг одного какого-нибудь поступка, одной определенной интриги. Здесь же этих интриг целый десяток: здесь — сама жизнь. Мы видим героев не только в критический, переломный момент их жизни, но в любую ее минуту и со всех сторон; они всегда верны себе, но в то же время противоречивы и, следуя склонностям, заложенным в характере каждого, неприметно меняются в хорошую или дурную сторону. (Здесь следует подробный разбор характера Наташи; я пылко защищаю правдоподобие ее эволюции, которая многих разочаровывает. Я с любопытством отмечаю описание последних месяцев старого князя Болконского, который мало-помалу уходит из жизни, со дня на день становясь все более желчным, деспотически грубым с преданной ему дочерью, теряет память или же вдруг переносится ко дням своей юности, вспоминая одержанные тогда русскими победы — такой разительный контраст с нашествием французов, которое переживает ныне его страна.)

Дойдя до третьего тома, я уже захвачен до такой степени, что готов, по тонкости анализа и широте охвата, приравнять Толстого к Шекспиру, ибо нарисованная им картина одновременно грандиозна и правдива. Потом (совершенно точное ощущение!) я потерял нить. Я не мог примириться с развитием некоторых характеров. Меня чрезвычайно раздражали философские отступления и частые повторы (пережевывания). Я не мог проследить за ходом мысли ни Пьера Безухова, ни даже князя Андрея. И, наконец, развязка романа, равно как и его начало, показались мне слишком незначительными, чтобы послужить входом и выходом из столь грандиозного здания. Возможно, что все описанное взято из действительности. Но

разве Толстой не мог найти в действительности других эпизодов, более характерных, нежели беседа у Анны Шерер в начале или бессвязный сон маленького Болконского — в конце? Быть может, в заключительных словах романа есть какой-то скрытый смысл? Я искал его тогда, но не нашел¹. Роман не имеет ни начала, ни конца, как и сама жизнь. Следуя превосходному немецкому термину, он находится в процессе «становления», непрерывного преобразования. Меня восхищает, что при столь уважительном отношении к фактам, при столь тщательном описании действительности Толстой сумел внушить нам столь страстный интерес к небольшому числу персонажей, увлечь нас таким глубоким и тонким проникновением в самые заветные тайники их характеров, таким душевным их пониманием, что в этом, на мой взгляд, с ним не может сравниться никто, даже сам Шекспир. Единственно, в чем Шекспир его превосходит, это в драматической правде, ибо у нее иная природа, чем у правды частных истин.

Три месяца спустя, в июле 1886 года, я был принят в Нормальную школу. Во время следующих каникул я впервые прочитал «Госпожу Бовари», и она привела меня в восторг. Я нашел, что это великолепная реалистическая книга. «Это единственный французский роман, который по жизненному полнокровию может выдержать сравнение с Толстым», — записал я. — Все пять чувств помогают глубокому восприятию образов. Но в итоге роман больше дает уму, чем сердцу. Тот или иной персонаж волнует нас не сильнее, чем в жизни какой-нибудь встречный, не имеющий к нам непосредственного отношения. Он сам по себе, и мы тоже сами по себе».

Поступив в Нормальную школу, мы с четырьмя соучениками сразу же создали комиссию по закупке книг. Первые же книги, приобретенные нами, были «Бесы» Достоевского и «Детство и отрочество» Толстого. Я даю друзьям почитать мой экземпляр «Войны и мира». Все находят произведение великолепным, но по разным соображениям. Богатство содержания позволяет каждому найти в этой книге то, что нужно ему. Сюарес предпочитает первый том; он огорчен, когда любимые герои оказываются замешаны в пошлейших авантюрах. Жорж Милль, наоборот, предпочитает третий том. Ему нравится происходящее на глазах у читателя омещанивание героев, представленных столь романтическими и страстными

¹
Надо помнить, что в это время Р. Роллапу было 20 лет.

в начале романа. Он в восторге от детского сна, которым заканчивается длительное повествование. Он считает глубоко верной мысль Толстого: жизнь течет непрестанно, никогда не иссякая. Нет такого непоправимого, на первый взгляд, крушения, которое не было бы поправимо. Женщина может быть подавлена горем, смертельными, казалось бы, страданиями: она заживает раны, забывает горе. Даже самая смерть не прекращает жизни. Князь Андрей живет сызнова в своем сыне. И все в мире благо...

В первый семестр, проведенный в Нормальной школе (с ноября 1886 года по май 1887 года), я открыл для себя великоколепные романы Достоевского: «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы» и другие. Мой дневник переполнен заметками по этому поводу. Меня захватывает «Идиот», а в «Бесах» восхищает удивительный «анализ бредовых ощущений и образов, одолевающих целый народ», — «ночь, распростершаяся из конца в конец над страной», — «власть ужаса — ужаса перед существующей реальностью и еще более — затаенного ужаса перед неведомым грядущим, которое не наступает», — и вера в то, что «из этого нагромождения руин, безумия и преступлений возникнет новый закон, новая вера, новый бог», которые будут под стать новому Обществу.

Но болезненному гению Достоевского я предпочитаю вполне здоровый гений Толстого.

К этому же времени относится моя первая встреча со Стендалем. Я тогда не понял, что передо мной великий мастер, не знал, что впоследствии он станет мне так дорог. Меня ослеплял Толстой; пристрастие к нему искажало мои суждения. Но это не помешало мне заинтересоваться «Красным и черным» и прийти в восторг от «Пармской обители»; я посвятил этим произведениям довольно обстоятельные записи. В те годы меня смущало, что, анализируя характеры, Стендаль оставляет в них необъяснимые черты.

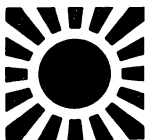
Толстого читаешь с ощущением, что почти невозможно, чтобы описанные им события произошли как-то иначе.

Стендаль же всегда оставляет дверь открытой; и в выбранном им варианте я усматривал тогда авторский произвол; теперь же мне кажется, напротив, что это признак свободного ума, который с проникательной пропой следит за причудливым ходом событий, не подтасовывая их и не утаивая непредвиденное.

Летом 1887 года путешествие по Фландрии, Бельгии, Голландии и Рейнской области как бы распахнуло для меня окно в мир; остальное время каникул я провел в Кламси, в старом

доме на берегу канала. Я предавался безудержному разгулу чтения, беря книги в библиотеке Научно-художественного общества Кламси, основанной моим дедом. Я прочел там уйму русских книг; это говорит о том остром интересе к русской литературе, какой проснулся во французской провинции. Среди прочих книг прочитал я «Тараса Бульбу» Гоголя, «Повести» Александра Герцена, «Записки охотника» Тургенева, «Записки из Мертвого дома» и «Преступление и наказание» Достоевского, «Обломов» Гончарова, не говоря уже о романах и повестях Джордж Элиот и Диккенса, французских и даже старокитайских романах — как «Двоюродные сестры» в переводе Абея Ремюзá... (Не следует ли воздать должное любознательности этого провинциального городишки, который снабжал своих читателей столь обильной пищей?).

«Преступлением и наказанием» я был очарован. Я готов был поставить этот роман в один ряд с «Войной и миром». «Я предпочитаю Толстого, потому что его искусство и художественный темперамент, характер его мышления и его видения ближе мне самому и моему идеалу. Но оба они равно велики. «Война и мир» — это безбрежная жизнь, это океан душ; и сам как бы превращаешься в дух божий, что витает над водами. «Преступление и наказание» — это буря, разразившаяся в одной душе; ты словно чайка, вознесенная на гребне огромной волны, уносящей ее в водовороте пены...» Но и здесь, как в запутанной интриге «Идиота» и «Бесов», я с досадой ощущаю влияние Эжена Сю.



ЛУИДЖИ
ЛУКАТЕЛИ

Луиджи Лукателли
Luigi Lucatelli
1877—1915

**Итальянский журналист, эссеист,
автор рассказов, популярных в начале века.**

**Многие произведения Лукателли
сатирически заострены,
объектом сатиры, как правило,
оказывается хорошо известная автору
буржуазная действительность
современной ему Италии.**

**В 1973 г. в журнале «Смена» (№ 2)
был напечатан его рассказ
«Как я воспитывал своего сына».**

МЕЧТА МАЛЫША

Когда меня знакомили с Бебе в гостиной его достопочтенной матушки, я почти исчерпал свой запас натянутых улыбок, ненатуральных улыбок визитера. Я честно выполнил все, что полагается: полюбовался безобразным портретом хозяйки дома, оценил старания хозяйкиной дочки уморить слушателей игрой на фортепиано (кажется, она пыталась воспроизвести сонату Баха), поглотил изрядную дозу мутного пойла, которое именовали в этом доме чаем, и даже стал заигрывать с хозяйкиной фавориткой, облезлой и сварливой болонкой Фифи.

Я думал, что познал всю возможную глубину человеческого падения. Но тут появился Бебе.

Воцарилась благоговейная тишина. Все ждали декламации.

Бебе прекратил ковырять в носу и встал в позу. Потом он крепко зажмурился, набрал воздуха в грудь и выпалил единым духом четыре строфы из Леопарди. Своей оглушительной тирадой он известил публику о том, что в предзакатный час некая поселанка шествует средь полей, имея в перстах не мотыгу, как было бы естественно предположить, а дивные гирлянды фиалок и роз.

Гости зашевелились. Мамаша вздохнула с явным облегчением. Бебе шаркнул ножкой и снова сунул палец в нос.

Тут я погладил Бебе по головке, выжал из себя последнюю отчаянную улыбку и произнес традиционную фразу:

— Прекрасно, дружок, просто-таки замечательно! Ну, а кем ты станешь, когда вырастешь?

И Бебе, задравши кверху свой носик, гордо произнес:

— Сыщиком!

Если бы мне внезапно заявили, что в мое метрическое свидетельство вкралась ошибка и на самом деле я ровесник Фридриха Барбароссы — даже тогда я не почувствовал бы себя столь безнадежно устаревшим. Короткое слово, произнесенное Бебе, обозначило невидимую пропасть, разделившую наши поколения на рубеже старого и нового столетий. Моя манера жить и мыслить осталась в прошлом, девятнадцатом веке, хоть я не так уж стар и не так уж давно сам декламировал в коротких штанишках «Битву Маклодия» в августейшем присутствии взрослых гостей.

Мечта Бебе — это клеймо, которым мечено все его поколение. Ведь если бы кто-нибудь задался целью разобраться в элементах, из которых складывается психология эпохи, он вряд

ли опирался бы только на приметы реальной жизни. Гораздо легче понять некоторые, казалось бы, необъяснимые духовные феномены, обратившись к мечтаньям ранней юности: именно в них скрываются мощные порывы, что возвышают душу и подвигают людей на великие и славные дела.

И когда летят годы, оставляя за собою разрушительный след тяжелых крыльев, сокрушая наивные идеалы, хрупкие надежды, неясные и пленительные сны, маленькая искорка, запавшая в детскую душу, мечта, что осветила собою первые годы юности, упорно сверкает и не гаснет, озаряя своим ровным светом тропу человеческой жизни.

Те минуты, то сладкие, то страшные, что ты переживал в мягком свете старинной семейной лампы, погрузившись в любимую книгу, воображая себя ее героем, — эти мгновения решают твою жизнь. И все последующие испытания, сколь бы ни были они тягостны, не смогут ничего изменить.

Кто из нас не погружался с головой в этот увлекательный и романтический сон?

Милый читатель! И не пытайтесь сказать «Нет!» Хотя вы и обзавелись сейчас брюшком и бородкой, этими отличиями почтенного возраста, что презирает иллюзии и грезы, я могу поклясться, да-да, я видел вас рядом с собой среди несметных полчищ мальчишек всего мира, что проносились галопом с карабинами в руках по воображаемым прериям, вдогонку за краснокожими Гюстава Эмара!

Неужели вы могли забыть, как метким выстрелом из мушкета сразили «Волчью голову», знаменитого индейского вождя? А неуловимая субмарина — вы были ее капитаном! А помните, как хотелось вам пережить какую-нибудь чудовищную трагедию, пусть не собственную, пусть взятую у кого-нибудь напрокат! Как вы мечтали о жестоких разочарованиях, от которых ваши ланиты покрылись бы смертельною бледностью! Как жаждали вы кровавых, несмываемых обид, и потом жестоко за них мстили — также в воображении!

И не стыдитесь признаться, что вы не раз погружались в облик капитана Немо в океанские воды; здесь нечего стыдиться, это проделывал и я сам в детстве, и еще такое множество мальчишек, что если бы наши мечты вдруг претворились в явь, подводные лодки в мировом океане налетали бы друг на друга так же часто, как сталкиваются сейчас поезда на железных дорогах Италии.

И не говорите мне, что все это — дело прошлое!

Ничего подобного! Потoki все той же душераздирающей грусти струились из-под вашего пера, когда вы писали первое в жизни письмо к любимой. Вы закатали ей хорошую порцию капитана Немо, к великому ужасу бедняжки, которая приняла все за чистую монету.

Потому что идеал современных женщин может выглядеть как угодно — шляпа с перьями пажа Фернандо, шлем Трубадура — но сущность образа остается всегда неизменной.

Что же до остальных незабываемых героев детских книг... Героем поколения наших отцов был д'Артаньян.

Воинственность и отвага, звон шпаг и шелест развевающихся перьев, безупречное «умение умирать».

И когда мальчики превращались в мужей, в их душе оставался навсегда отблеск этой возвышенной дерзости, этой гибельно опасной бравады.

Кто знает, сколько доблестных смертей — память о них и сейчас жива в потомстве — сколько прекрасных самопожертвований пред лицом потрясенных толп или в грохоте битвы, сколько грандиозных и возвышенных поступков, каждый из которых — чеканная строфа героической эпопеи, зародилось однажды тихим вечером над раскрытой страницей Дюма? Они дремали в тайных глубинах сердца, пока их не пробудила однажды к жизни трагическая реальность. И герой выступил ей навстречу как прекрасный персонаж романа, с рукой на эфесе шпаги, горящим взором и улыбкою на устах.

Да что там! Подвиг гарибальдийцев немалым обязан героическим фантазиям Дюма и Гюго, двух творцов, что воспитали дух итальянцев и подготовили благодатную почву для зерен, брошенных потом Мадзини и Гарибальди.

Затем герой времени переменялся.

Новый идеал возник в грандиозной схватке цивилизации с варварством за покорение неизведанных земель во славу белой расы, в той неслыханной битве, что подчинила себе мозг, мускулы и сердце целого поколения. Стэнли, капитан Немо — вот наши детские иконы, дорогой читатель.

А теперь идеал изменился снова.

Это произошло благодаря Конан-Дойлю.

Его рассказы рядом с творениями По — штамповка рядом с Венерой. Взяв за образец две-три новеллы великого американца, он наштамповал несколько сотен собственных по одному и тому же рецепту: немножко Эдгара По, чуть побольше Понсон дю Терраи и несколько других ингредиентов. А то, что получилось из этой смеси, как нельзя более соответствует условиям нового века.

Для человеческого рода уже не оставалось на земле тайн и загадок. Все белые пятна на карте мира уже закрашены. Все тайны познаны, и через два десятка лет мы будем летать по воздуху, не встречая помех, кроме разве таможенных пошлин.

Теперь человечество обратило взоры свои в душу свою. Мы постигаем заново поэзию нравственной борьбы; иной смысл и значение приобретают для нас понятия добра и зла, справедливости и вины. Жестокая борьба этих начал кипит уже не на

поле военных действий, а среди сумрачных громад больших городов.

В просторах прерий и в океанских глубинах теперь уже не таятся дивные дива. Паровозные гудки и сирены пароходов разогнали дымку очарования, что окутывала далекие и неизведанные земли. Полтора десятка уцелевших краснокожих притворяются за плату дикарями в цирке, а капитан Немо, явись он на самом деле, немедленно наткнулся бы на пограничную подводную охрану.

Тщательно выбритый, пропитательный и невозмутимый сыщик-детектив — это единственный романтический герой нашего трезвого и рационального мира.

Эта фигура чужда нашему поколению, влюбленному в романтику диких степей, палящего зноя, битв и приключений.

Новый идеал — достояние Бебе и его ровесников. Я не могу не думать о том, что произойдет с этими детишками через двадцать лет. Уж не пополнят ли они собою ряды тайной полиции? Породили же «Военные рассказы» Де Амичиса несколько сотен подпоручиков.

Но все же есть очарование и в фантазиях нынешних детей. Они восхитительны, как все детские мечты. Вспомним наши юношеские порывы — что случилось с ними теперь?

Кое-кто пытается отмахнуться от сладких грез: в тесных стенах конторы не расправить крыльев для полета.

Другой донкихотствует до старости, повсюду разыскивая свой недостижимый идеал.

А третий вместо того, чтоб поджидать, замирая в страхе, косую старуху смерть, которая таскается, шаркая подошвами, от порога к порогу, как грязная оборванная нищенка, готовится встретить ее без тени боязни и расхохотаться ей в лицо...

Однако я замечтался. Малыш Бебе застыл передо мной в выжидательной позе. Что делать... Я сказал Бебе:

— Как, сыщиком? Это лучшая профессия в мире!

Бебе был вполне удовлетворен. Он в последний раз утер нос рукавом курточки, шаркнул ножкой и удалился. Зато его матушка, заподозрив иронию в моем голосе, царапнула меня неласковым взглядом.



Стефан
LIBEYГ

Стефан Цвейг
Stefan Zweig
1881—1942

Австрийский новеллист, поэт, эссеист.

Всемирно известны
написанные Цвейгом биографии великих писателей:
Толстого, Стендаля, Бальзака, Диккенса, Достоевского и др.;
биографии эти, как и новеллы Стефана Цвейга,
отличает глубокий психологизм.

У нас в стране произведения Стефана Цвейга
переиздаются снова и снова.

Я снова жил в Вене, и однажды вечером, возвращаясь домой с окраины города, неожиданно попал под проливной дождь, своим мокрым бичом проворно загнавший людей в подъезды и под навесы; я и сам бросился отыскивать спасительный кров. К счастью, в Вене на каждом углу вас поджидает кафе, и я в промокшей шляпе и насквозь мокрым платье вбежал в одно из ближайших. Это оказалось самое обыкновенное, шаблонное кафе старовенского, патриархального типа, без оркестра и прочих заимствованных в Германии модных приманок, которыми щеголяли кафе на главных улицах; посетителей было много — мелкий люд, поглощавший больше газет, чем пирожных. Несмотря на табачный дым, который сизыми спиралями пронизывал и без того душный воздух, в кафе было уютно и чисто благодаря новой плюшевой обивке на сиденьях и блестящей алюминиевой каске; второпях я даже не потрудился взглянуть на вывеску — да и к чему?

Я сел за столик и, быстро согревшись в теплой комнате, стал нетерпеливо поглядывать на окна, затянутые голубой сеткой дождя, — скоро ли заблагорассудится неслышному ливню продвинуться на несколько километров дальше.

Итак, я сидел в полной праздности, и мало-помалу мной овладела та расслабляющая лень, которую, подобно наркозу, незримо источает каждое истинное венское кафе. Рассеянно разглядывал я лица посетителей, казавшиеся землистыми в искусственном свете наполненного табачным дымом помещения, наблюдал за кассиршей, словно автомат отпускаявшей кельнерам сахар и ложечку к каждой чашке кофе, бессознательно, в полудремоте, читал скучнейшие плакаты на стенах и почти наслаждался этим оцепенением. Но вдруг, по какой-то непонятной причине, я очнулся; какое-то внутреннее беспокойство заставило меня насторожиться, словно глухая зубная боль, когда еще не можешь определить, какой зуб ноет — сверху или внизу, слева или справа; я только ощущал смутное волнение, род душевной тревоги. Ибо — сам не зная почему — я внезапно проникся уверенностью, что не в первый раз очутился в этом кафе: я был здесь много лет назад и связан какими-то воспоминаниями с этими стенами, стульями, столами, с этим чуждым мне, прокурным помещением.

Однако, чем больше старался я овладеть этим воспоминанием, тем коварнее оно от меня ускользало; словно морская звезда, мелькал его неверный свет в самых глубинах сознания — не выудить и не схватить. Тщетно вбивался я взглядом в каждый предмет обстановки; многое, разумеется, было мне незнакомо, например, касса с дребезжащим автоматическим счетчиком, коричневая, под красное дерево, панель вдоль стен — все это появилось, вероятно, позже. И все-таки, все-таки я был здесь лет двадцать назад, а то и больше; здесь незримо присутствовала, притаившись, как гвоздь, вколоченный в дерево, частица моего собственного, давно изжитого «я». Напряженно вглядывался я в то, что было вокруг меня, и в то, что было во мне, но, черт возьми, я не мог уловить этого забытого, потонувшего во мне самом воспоминания.

Я злился, как злишься каждый раз, когда какая-нибудь неудача обнаруживает несостоятельность и несовершенство наших духовных сил. Однако я не терял надежды овладеть все же в конце концов этим воспоминанием. Я знал, что достаточно ничтожной зацепки, ибо память моя обладает странным свойством, одновременно и хорошим и дурным: она упряма и своенравна и вместе с тем необычайно надежна. Она увлекает па дно важнейшие события и лица, прочитанное и пережитое и ничего не возвращает из этой темной пучины без принуждения, по одному лишь требованию воли. Но стоит мне натолкнуться на самый ничтожный намек, на открытку с видом, знакомый почерк на конверте или пожелтевшую газету, и забытое тотчас выплывает из сумрачных глубин живо и отчетливо, словно рыба, пойманная на удочку. Я припоминаю малейшие подробности, вижу рот знакомого мне человека — с левой стороны не хватает зуба, что особенно заметно, когда он смеется, слышу его отрывистый смех — при этом вздрагивают кончики усов и сквозь смех проступает другое, новое лицо; в ушах моих слышно звучит каждое слово, произнесенное им много лет назад. Но для того, чтобы с полной ясностью увидеть и ощутить прошлое, мне необходим внешний толчок, необходима некоторая, хотя бы ничтожная, помощь из реального мира. Я закрыл глаза, стараясь сосредоточиться и сделать осязаемой эту неуловимую зацепку, чтобы схватиться за нее. Но тщетно! Ничего, решительно ничего не подсказывала мне память. Я так рассердился на скверный своевольный аппарат, заключенный в моей черепной коробке, что готов был колотить себя кулаками по лбу, как встряхивают испорченный автомат, когда он упрямо не выбрасывает требуемого. Нет, я не мог боль-

ше спокойно сидеть на месте; меня так возмущала эта осечка памяти, что я встал и вышел из-за столика. Но странно — не успел я сделать и двух шагов, как внезапно что-то слабо замерцало, забрезжило в моем сознании. Справа от кассы, вспомнилось мне, должен быть вход в помещение без окон, освещаемое лишь искусственным светом. И в самом деле, так и оказалось. Вот она, эта комната; правда, обои другие, но в остальном все та же — почти квадратная, с чуть скошенными углами. Радостно возбужденный (я уже чувствовал: сейчас вспомню все), я оглядел помещение: два билльярда томпились без дела, словно зеленые, заросшие тиной пруды; по углам торчали ломберные столы, за одним из них два не то надворных советника, не то профессора играли в шахматы. А вон там, около железной печки, у самого прохода к телефонной будке, стоял небольшой четырехугольный стол. И тут меня осенило — точно молния, в один-единственный, блаженно-радостный миг вспыхнуло воспоминание: боже мой, да ведь это столик Менделя, Якоба Менделя, Менделя-букиниста, и я через двадцать лет снова очутился в его главной квартире, в кафе Глюк, на Альзерштрассе. Как я мог забыть его, Якоба Менделя, как мог так долго, так непростительно долго не вспоминать об этом удивительном человеке, этой живой легенде, чуде из чудес, прославленном в университете и в узком кругу почитателей, как мог я предать забвению этого мага и маклера книжного дела, который изо дня в день несокрушимо сидел здесь с утра до вечера, — символ человеческого знания, краса и гордость кафе Глюк!

Мне нужно было только на одно мгновение закрыть глаза, и передо мной возник его подлинный, живой, неповторимый образ. Я вновь увидел его за этим четырехугольным столом с серовато-грязной мраморной доской, заваленной книгами и бумагами. Увидел, как он сидит, упорно и невозмутимо устремив сквозь очки пристальный, словно замороженный взор в книгу, сидит и читает, что-то бормоча и мурлыча себе под нос по привычке, приобретенной в хедере, в еврейской начальной школе на Востоке, раскачиваясь взад и вперед, и тускло поблескивает его пятнистая лыспна. Здесь, за этим столом, и только за ним, читал он каталоги и книги так, как учили его читать талмуд, — параспев и раскачиваясь, словно черная колыбель. Ибо подобно тому как дитя погружается в сон и уже не ощущает мира, убаюканное плавным, усыпляющим ритмом, так, по мнению благочестивых людей, и дух благодаря мерному движению праздного тела легче погружается в блаженную отрешенность от мира. И в самом деле, Якоб Мендель не ви-

дел и не слышал, что бы ни происходило вокруг. Рядом с ним шумели и ссорились игроки на бильярде, сновали взад и вперед маркеры, трещал телефон, мыли полы, топили печку — он ничего не замечал. Однажды из топки выпал раскаленный уголек; в двух шагах от него уже тлел и дымился паркет. Тогда кто-то из посетителей, почуввав адскую вошь, вбежал в комнату и предотвратил беду, он же, Якоб Мендель, сидя на расстоянии двух дюймов от начавшегося пожара и уже окуренный едким дымом, ничего не заметил. Ибо он читал так, как другие молятся, как играют азартные игроки, как пьяные безотчетно глядят в пространство; он читал так трогательно и самозабвенно, что с тех пор всякое иное отношение к чтению казалось мне профанацией. В лице Якоба Менделя, этого маленького галицийского букиниста, я впервые столкнулся с великой тайной безраздельной сосредоточенности, создающей художника и ученого, истинного мудреца и подлинного безумца, — с трагедией и счастьем одержимых.

Привел меня к нему старший товарищ по университету. Я в ту пору интересовался еще и ныне малоизвестным последователем Парацельса, врачом и магнетизером Месмером, но без особого успеха; основные труды, посвященные его деятельности, оказались недостаточными, а библиотечкарь, к которому я по неопытности обратился, сердито пробормотал, что указывать литературу надлежит мне, а не ему. Тогда-то мой товарищ в первый раз упомянул имя букиниста. — Я сведу тебя к Менделю, — пообещал он. — Этот человек все знает, и все достанет, он раздобудет тебе редчайшую книгу из любой антикварной лавчонки в Германии. Это самый толковый человек в Вене и к тому же большой оригинал, допотопный книжный червь вымирающей породы.

Мы вместе отправились в кафе Глюк, и вот — там он сидел, Мендель-букинист, в очках, с всклокоченной бородой, весь в черном, раскачиваясь, точно темный куст на ветру. Мы подошли к нему — он нас не заметил. Он сидел и читал, раскачиваясь над столом точно поклонник Будды; за его спиной болталось на крючке поношенное черное пальтишко, из всех карманов которого торчали журналы и записки. Чтобы привлечь его внимание, мой приятель громко кашлянул. Но Мендель продолжал читать, уткнувшись носом в книгу; он нас упорно не замечал. Наконец, мой товарищ постучал о мраморную доску стола, громко и сильно, как стучат обычно в дверь; тогда лишь Мендель поднял голову, машинально сдвинул на лоб громоздкие очки в стальной оправе, и из-под взъерошенных пепельно-серых бровей уставились на нас удп-

вительные глаза — маленькие, черные, живые глазки, острые и верткие, как змеиное жало. Мой приятель представил меня, и я изложил свою просьбу, причем — к этой хитрости я прибег по настоятельному совету приятеля — прежде всего излил свой гнев на библиотекаря, не пожелавшего мне помочь. Мендель откинулся на спинку стула и не спеша сплюнул. Потом отрывисто засмеялся и заговорил с сильным восточным акцентом: — Не пожелал? Нет, не сумел! Это же паршивец, это же несчастный старый осел. Я знаю его вот уже двадцать лет. Вы думаете, он чему-нибудь научился? Жалованье класть в карман — только это они и умеют! Им бы кирпичи таскать, господам ученым, а не над книгами сидеть.

После того, как Мендель таким образом отвел душу, лед был сломан, и он приветливым жестом пригласил меня к своему испещренному заметками мраморному столу, к этому еще неведомому мне алтарю библиофильских откровений. Я коротко изложил свои пожелания: труды современников Месмера о магнетизме, а также более поздние книги и работы за и против месмеризма; когда я кончил, Мендель прищурил на мгновение левый глаз, в точности так, как стрелок перед выстрелом. Но только на одно-единственное мгновение; и тотчас же, словно читая незримый каталог, Мендель перечислил два-три десятка книг, называя издателя, год издания и приблизительную цену. Я оторопел. Хотя я и был предупрежден, ничего подобного я не ожидал. Мое изумление, видимо, обрадовало его, ибо он продолжал разыгрывать на клавиатуре своей памяти самые удивительные библиографические вариации на ту же тему. Не угодно ли мне кое-что узнать и о сомнамбулистах и первых опытах гипноза, о Гаснере, о заклинании беса, о Христианской науке и о Блаватской? Снова посыпались имена, названия, сведения; теперь только я понял, на какое небывалое чудо памяти я наткнулся в лице Якоба Менделя; это был подлинный ходячий универсальный каталог. Потрясенный, смотрел я на этот библиографический фепомеп, втиснутый в невзрачную, даже неопрятную оболочку галицийского букиниста. С легкостью выпалив около восьмидесяти названий, он с наигранным равнодушием, но явно довольный тем, что так хорошо удалось козырнуть, стал протирать очки носовым платком, некогда, вероятно, белым. Чтобы хоть немного оправиться от изумления, я робко спросил, какие из этих книг он берет для меня. — Посмотрим, посмотрим, — пробормотал он. — Приходите завтра, Мендель к тому времени уже кое-что достанет вам; чего нет в одном месте, найдется в другом; у кого голова на плечах, тому и счастье. —

Я вежливо поблагодарил и от избытка вежливости совершил грубейшую ошибку, предложив записать названия нужных мне книг на клочке бумаги. В ту же минуту мой приятель предостерегающе толкнул меня локтем. Но, увы, слишком поздно! Мендель окинул меня взглядом — и каким взглядом! То был взгляд одновременно торжествующий и оскорбленный, насмешливый и высокомерный, по-шекспировски царственный, взгляд, которым Макбет окинул Макдуфа, когда тот предложил непобедимому герою сдаться без боя. Он снова отрывисто рассмеялся, и большой торчащий кадык задвигался — очевидно, он с трудом проглотил крепкое словцо. Да я и заслужил любую, самую грубую брань из уст доброго, честного Менделя-букиниста; ведь только чужой человек, невежда («амхорец», как он выражался) мог сделать оскорбительное предложение — записать названия книг, и кому? Якобу Менделю! Словно он мальчик из книжного магазина или служитель в букинистической библиотеке; как будто этот несравненный ум когда-либо пужался в столь грубых подпорках. Лишь много позже я понял, как сильно должна была моя предупредительность уязвить его; ибо этот маленький, невзрачный, утонувший в своей бороде и вдобавок горбатый галицийский еврей Якоб Мендель был титаном памяти. За этим грязновато-бледным лбом, обросшим серым мохом, запечатлены были незримиыми письменами, словно отлитые из металла, титульные листы всех когда-либо вышедших книг. Он мгновенно, не колеблясь, называл место выхода любого сочинения, появилось ли оно вчера или двести лет тому назад, его автора, первоначальную цену и букинистическую; помнил отчетливо и ясно и переплет, и иллюстрации, и факсимиле; каждую книгу, побывавшую у него в руках или только рассмотренную в витрине или в библиотеке, он мысленно видел с той же фотографической точностью, с какой художник внутренним оком видит еще скрытые от мира создаваемые им образы. Если в каталоге какого-нибудь регенсбургского букиниста книга была оценена в шесть марок, он тотчас припоминал, что два года тому назад другой экземпляр этой книги на распродаже в Вене пошел за четыре кроны и кем она была куплена. Нет, Якоб Мендель не забывал ни одного названия, ни одной цифры, он знал каждое растение, каждую инфузорию, каждую звезду в изменчивом зыбком книжном космосе. По каждой специальности он знал больше, чем специалисты, знал библиотеки лучше, чем библиотекари, наличие книг большинства фирм он знал лучше, чем их владельцы, вопреки всем спискам и картотекам, опи-

раясь единственно на свой магический дар, на свою несравненную память, всю силу которой можно показать, только приведя сотни примеров. Правда, эта память могла получить такое поистине сверхъестественное развитие только благодаря вечной тайне всякого совершенства: тайне сосредоточенности. Этот удивительный человек не знал в мире ничего, кроме книг, ибо все явления бытия обретали для него реальность лишь претворенные в буквы, собранные в книгу и как бы бесплотные. Но и книги он читал не ради их содержания, не ради заключенных в них мыслей или фактов; только название, цена, формат, титульный лист увлекали его. Всего лишь необъятным перечнем имен и названий, запечатленным не на страницах каталога, а на податливой коре человеческого мозга, — перечнем, в конечном счете бесполезным, не оживленным творческой мыслью, — вот чем была специфически-букинистическая память Якоба Менделя; но в своем неповторимом совершенстве она оказалась не менее феноменальной, чем память Наполеона на лица, Меццофанти — на языки, Ласкера — на шахматные дебюты, Бузони — на музыкальные опусы. Используемый в учебном или другом общественном учреждении, этот мозг мог бы удивить и наставить тысячи, сотни тысяч студентов и ученых; он был бы плодотворен для науки, явился бы бесценным приобретением для тех общедоступных сокровищниц, которые мы называем библиотеками. Но этот мир был навеки закрыт для несформированного галлицийского маклера, который знал немногим больше того, чему научился в хедере; и эти поразительные способности могли проявляться лишь в тайных откровениях за мраморным столом кафе Глюк. Но если когда-нибудь появится великий психолог (наш духовный мир все еще ждет его трудов) и, подобно Бюффону, упорно и терпеливо классифицировавшему породы животных, опишет все разновидности, особенности, первобытные формы и отклонения от них той волшебной силы, которую именуем памятью, ему следовало бы вспомнить о Якобе Менделе, об этом гении библиографии, об этом безвестном корифее букинистической науки.

По профессии и для непосвященных Якоб Мендель был лишь мелким перекупщиком книг. Каждое воскресенье в газетах «Нойе фрайе пресс» и в «Нойер винер тагеблат» появлялись одни и те же стереотипные объявления: «Покупаю старые книги, даю хорошую цену, прихожу на дом по первому вызову, Мендель. Альзерштрассе», и затем номер телефона — телефона, разумеется, кафе Глюк. Он рылся в книжных складах, еженедельно

при помощи старика посыльного с бородой, как у австрийского императора, перетаскивал добычу в свою главную квартиру и опять уносил оттуда, ибо надлежащего разрешения на книжную торговлю у него не было. Приходилось довольствоваться мелким, грошовым промыслом. Студенты сбывали ему свои учебники, через его руки они совершали путь от старшего курса к младшему; кроме того, он отыскивал книги по заказам и продавал их с незначительной надбавкой: советы свои он ценил дешево. Деньги не играли роли в его мире; всегда его видели в одном и том же потертом сюртуке; утром, днем и вечером он выпивал стакан молока с двумя булочками, скудный обед ему приносили из ближайшего ресторана. Он не курил, не играл, можно сказать, даже не жил — жили лишь глаза за толстыми стеклами очков, без устали питавшие этот своеобразный мозг словами, заглавиями, именами. И мягкая, податливая ткань этого мозга жадно впитывала поток сведений, как впитывает луг тысячи и тысячи капель дождя. Люди его не интересовали, и из всех человеческих страстей он, быть может, знал только одну — правда, самую человеческую — тщеславие. Если к нему приходил за справкой человек, уставший от бесплодных поисков в сотне разных мест, и Мендель мог сразу же ответить на вопрос, это одно давало ему удовлетворение и радость, да еще, быть может, сознание, что в Вене и за ее пределами живут несколько десятков человек, которые уважают его знания и нуждаются в них. В каждом из многочисленных хаотических нагромождений, которые мы именуем столицами, кое-где вкраплены мельчайшие грани, которые отражают один и тот же мир на крошечной плоскости; они скрыты для большинства и дороги только знатоку, только собрату по страсти. И все без исключения любители книг знали Якоба Менделя. Так же как за советом относительно какого-нибудь музыкального произведения отправлялись к Еузебиусу Мапдишевскому, в Обществе друзей музыки, где он сидел в серой ермолке, с приветливой улыбкой на устах, среди папок и нот и с первого же взгляда легко разрешал труднейшие загадки, так же как и по сей день каждый, кто хочет получить сведения о театральной жизни старой Вены, о ее культуре, неизбежно обратится к всеведущему старнику Глосси, так и немногие правоверные венские библиофилы, когда им попадался особенно твердый орешек, не задумываясь, совершали паломничество в кафе Глюк, к Якобу Менделю. Наблюдать за Менделем во время такой консультации доставляло мне, молодому, любопытному человеку, величайшее наслаждение. Обычно, когда ему припо-

сили заурядную книгу, он презрительно захлопывал ее и цедил сквозь зубы: «Две кроны»; но, увидев редкий экземпляр или уникам, он почтительно отодвигался, подкладывая лист бумаги, и видно было, что он стыдится своих грязных, измазанных чернилами пальцев с черными ногтями. Потом с нежностью, благоговейно перелистывал страницы одну за другой. Никто не мог помешать ему в эти минуты, как нельзя помешать молитве истинно верующего, и в самом деле, это разглядывание, перелистывание, обнюхивание — в отдельности и в совокупности напоминали строгий ритуал религиозного обряда. Горбатая спина двигалась из стороны в сторону, он ворчал, крихтел, почесывал голову, произносил непонятные звуки, протяжные «а...» или «о», выражавшие трепет восторга, за которыми следовали испуганные «ой» или «ойвей», если он наталкивался на вырванную или источенную жучком страницу. В заключение он почтительно взвешивал в руке древнюю, переплетенную в кожу книгу и, полузакрыв глаза, вдыхал запах увесистого квадратного тома, словно чувствительная барышня — аромат туберозы. На время этой довольно длительной процедуры владелец книги должен был, конечно, вооружиться терпением. Но, закончив осмотр, Мендель охотно, можно сказать, вдохновенно давал всевозможные справки, к которым неминуемо присоединялись пространные рассказы о забавных, а то и драматических случаях купли-продажи аналогичных экземпляров. В такие мгновения он становился как будто бодрее, моложе, жгучее, и только одно могло его страшно разгневать — предложение денег за оценку, на что иногда решался какой-нибудь новичок. Тогда он обиженно отстранялся, подобно директору картинной галереи, которому путешественник-американец хочет сунуть чаевые за объяснения; ибо поддерживать в руках драгоценную книгу значило для Менделя то же, что для другого — свидание с женщиной. Эти мгновения были для него платоническими почвами любви. Только книга имела власть над ним, а не деньги. Поэтому крупные коллекционеры, между ними и основатель Принстонского университета, тщетно пытались привлечь его в свои библиотеки в качестве советчика и скупщика — Якоб Мендель отказывался; его нельзя было представить себе иначе, как только в кафе Глюк. Тридцать три года тому назад, с еще мягкой черной бородкой и кудрявыми пейсами, он, невзрачный еврейский паренек, прибыл с Востока в Вену, чтобы подготовиться к сану раввина, но вскоре покинул едипого сурового бога Иегову и отдался сверкающему и тысячеликому многобожию книг. В те времена он впервые набрел на кафе

Глюк, и постепенно оно стало его мастерской, его главной квартирой, его почтовым отделением, его миром. Как астроном, который ежедневно в своей обсерватории одиноко наблюдает сквозь крохотное круглое отверстие телескопа мириады звезд, угасающих и разгорающихся, их таинственное движение, их перекрещивающиеся пути, так Якоб Мендель сквозь свои очки, сидя за четырехугольным столом в кафе Глюк, глядел в другой мир — в мир книг, тоже вечно движущийся и перевоплощающийся, в этот мир над нашим миром.

Его, конечно, очень высоко ценили в кафе Глюк, слава которого для нас больше связывалась с этой безвестной кафедрой, чем с именем патрона кафе, великого музыканта, творца «Альцесты» и «Ифигении» — Кристофа Виллибальда Глюка. Мендель был там такой же непрменной частью обстановки, как старая касса из вишневого дерева, два латаных и перелатанных билльярда и медный кофейник; его стол охранялся как святыня, ибо персонал кафе всегда радушно приглашал его многочисленных клиентов заказать что-нибудь, и таким образом, львиная доля прибыли от его знаний попадала в широкую кожаную сумку, болтавшуюся на бедре обер-кельнера Дейблера. За это Мендель-букинист пользовался различными привилегиями: он свободно распоряжался телефоном, здесь сохраняли его корреспонденцию, выполняли его поручения; старая сердобольная уборщица чистила ему пальто, пришивала пуговицы и относила еженедельно маленький сверток белья в прачечную. Ему одному разрешалось брать обеды в соседнем ресторане, и каждое утро господин Штандгартнер, владелец кафе, подходил к столу Менделя и самолично приветствовал его (правда, большей частью Якоб Мендель, углубленный в свои книги, не замечал этого). Ровно в половине восьмого утра он входил в кафе, и только когда тушили свет, оставлял помещение. Он никогда не разговаривал с посетителями, не читал газет, не замечал никаких перемен, и когда господин Штандгартнер однажды вежливо спросил, не лучше ли читать при электрическом свете, чем раньше, при мигающих газовых горелках, он удивленно посмотрел на грушевидные лампочки: он решительно ничего не заметил, хотя шум, стукотня и беспорядок, вызванные проводкой, длились немалое время. Только сквозь круглые отверстия очков, сквозь эти два блестящих, всасывающих стекла, проникали в его мозг миллиарды черных пифузорий-букв; все остальное проносилось мимо потоком бессмысленных звуков. Больше тридцати лет — другими словами, всю свою сознательную жизнь — он провел за этим четырехугольным сто-

лом, читая, сравнивая, вычисляя, и только ночь прерывала на несколько часов этот нескончаемый сон наяву.

Поэтому меня неприятно поразило, когда я увидел этот мраморный стол — бывшее прибежище оракула — опустелым, как могильная плита. Только теперь, в более зрелые годы, я понял, как много исчезает с уходом каждого такого человека, — прежде всего потому, что все неповторимое день ото дня становится все драгоценнее в нашем обреченном на однообразие мире. К тому же я очень полюбил Якоба Менделя — хотя, по молодости лет и недостатку опыта, и безотчетно. В его лице я впервые приблизился к великой тайне — что все исключительное и мощное в нашем бытии создается лишь впритирку сосредоточенностью, лишь благородной мономанией, священной одержимостью безумцев. Он показал мне, что непорочная жизнь в духе, самозабвенное служение одной идее, столь же страстное, как у индийских йогов или средневековых монахов, возможно и в наши дни и притом в освещенном электричеством кафе, рядом с телефонной будкой; в безвестном, ничтожном букинисте я нашел пример такого служения гораздо более яркий, чем у наших современных поэтов. И все же я умудрился забыть его; правда, то были годы войны, а я, подобно ему, с головой ушел в свою работу. Но сейчас, увидев опустевший стол, я почувствовал стыд и вместе с тем любопытство.

Куда он исчез, что с ним случилось? Я позвал кельнера и спросил у него. Нет, к сожалению, он такого не знает. Среди завсегдатаев кафе никакого господина Менделя нет. Но, может быть, обер-кельнер знает. Обер-кельнер лениво подошел, выставив вперед солидное брюшко, с минуту подумал — нет, он тоже не припоминает господина Менделя. Но, может быть, я имею в виду господина Манделя, владельца галантерейного магазина на улице Флорианц? Я ощутил горький привкус на губах, привкус тлена: для чего мы живем, если ветер, чуть ступила наша нога, тут же замечает ее след? Тридцать, быть может, даже сорок лет здесь, на пространстве в несколько квадратных метров, говорил, дышал, работал, думал человек; прошло всего три-четыре года, воцарился новый фараон, и уже никто не помнит о Иосифе, — никто в кафе Глюк не помнит о Якобе Менделе, Менделе-букинисте. Почти с гневом спросил я обер-кельнера, не могу ли я видеть господина Штандгартнера и не остался ли кто-нибудь из старого персонала. Штандгартнер? Бог ты мой, он давным-давно продал кафе и уже умер, а старый обер-кельнер живет в своем именице под Кремсом. Нет, никого не оста-

лось... впрочем... постойте! Ну, конечно, фрау Споршилль, уборщица, еще здесь. Но вряд ли она помнит отдельных посетителей. Однако я решил, что человека, подобного Якобу Менделю, не так-то легко забыть, и попросил вызвать эту женщину.

Она пришла, фрау Споршилль, из своего укромного уголка, седая, растрепанная, тяжело ступая отеками ногами; на ходу она успевала вытирала платком красные руки: должно быть, она только что подметала пол или протирала окна. Я сразу заметил, что этот неожиданный вызов был ей неприятен. В нарядном зале, под ярким электрическим светом она чувствовала себя неловко; к тому же простые люди в Вене всегда опасаются подосланных полицией сыщиков, когда к ним обращаются с расспросами. Сперва она бросила на меня взгляд исподлобья, недоверчиво и настороженно. Зачем ее позвали? К добру ли это? Но как только я спросил о Якобе Менделе, она встрепенулась и посмотрела на меня открыто, с радостным изумлением. — Боже мой, бедный господин Мендель, неужели еще кто-нибудь помнит о нем? Ах, бедный господин Мендель! — Она была растрогана до слез, как все старые люди, когда им напоминают об их юности, о давних забытых друзьях. Я спросил ее, жив ли он. — Ах, боже мой, вот уже пять или шесть лет, нет, пожалуй все семь прошло с тех пор, как умер бедный господин Мендель. Такой славный, хороший человек, и как подумаю, сколько лет я его знала, — больше двадцати пяти, ведь он уже был тут, когда я поступила. А что ему дали так умереть — это просто стыд и срам. — Она совсем разволновалась и спросила меня, не прихожусь ли я ему родственником. Ведь никто никогда не заботился о нем, никто о нем не справлялся — и неужели я не знаю, что с ним приключилось?

Нет, мне ничего не известно, заверил я, и прошу рассказать мне, рассказать все подробно. Но старушка робко и смущенно поглядывала на меня и все вытирала свои мокрые руки. Я понял: ей, уборщице, неловко было стоять посреди кафе с растрепанными седыми волосами, в грязном переднике; к тому же она боязливо озиралась по сторонам, не подслушивает ли кто из кельнеров. Поэтому я предложил ей пройти в бильярдную, на старое место Менделя, и там рассказать мне все, что она знала о нем. Она дружелюбно кивнула, словно благодаря меня за то, что я понял ее, и пошла вперед неуверенным, старушечьим шагом, я — за ней. Оба кельнера изумленно посмотрели нам вслед, они угадывали какое-то сообщество между нами; да и кое-кто из посетителей не без удивления проводил глазами столь неподходящую пару.

И там, за его столом (некоторые подробности я узнал впоследствии из другого источника), она рассказала мне о Якобе Менделе, о гибели Менделя-букиниста.

Так вот. Мендель, когда началась война, по-прежнему приходил каждый день в половине восьмого и сидел здесь, как всегда. И все так же с утра до вечера занимался; все в кафе считали и даже часто между собой говорили, что ему и невдомек, что идет война. Конечно, он ведь никогда не заглядывал в газеты, ни с кем не разговаривал, а когда газетчики подымали крик и все хватили экстренные выпуски, он никогда не вставал с места и не обращал на них внимания. Он и не заметил, что нет кельнера Франца (его убили под Горлицей) и что сын господина Штандгартнера попал в плен в Перемышле; он никогда не жаловался на то, что хлеб становится все хуже и что вместо молока он получает бурду из поддельного кофе. Только раз как-то он сказал, что удивительно мало приходит студентов,— и все. Бог ты мой, бедняга ни о чем никогда не думал, одна радость у него была — книги.

Но вот пришел день, когда случилось несчастье. В одиннадцать часов утра явился жандарм, а с ним агент тайной полиции; он показал значок под отворотом пиджака и спросил, бывает ли здесь Якоб Мендель. И они сразу подошли к столу Менделя, а тот, в простоте своей, сначала подумал, что они хотят продать ему книги или о чем-то справиться. Но они сразу сказали, чтобы он шел за ними, и увели его. Для кафе это был просто скандал — все посетители окружили бедного господина Менделя, а он стоял между теми двумя, сдвинув очки на лоб, и смотрел то на одного, то на другого и не понимал, чего они, собственно, от него хотят. Она же сразу сказала жандарму, что это ошибка, такой человек, как господин Мендель, и мухи не обидит, но агент полиции накричал на нее, чтобы она не смела мешиваться в его служебные обязанности. Потом его увели, и он долго не приходил, целых два года. Еще и по сегодняшний день она точно не знает, чего они от него хотели.

— Но я присягнуть готова,— взволнованно сказала старушка,— господин Мендель не мог сделать ничего дурного. Они ошиблись, головой ручаюсь. Так поступить с бедным, ни в чем не повинным человеком — это просто преступление!

И она была права, добрая, отзывчивая фрау Споршилль. Наш друг Якоб Мендель ничего дурного не совершил (я позже узнал все подробности), он только совершил умопомрачительную, трогательную, даже в то безумное время баснословную глупость, понятную только тому,

кто знал этого удивительного человека. Случилось следующее: военная цензура, обязанная проверять переписку, направляемую за границу, обнаружила открытку, написанную и подписанную неким Якобом Менделем; все правила были соблюдены, и марка — надлежащей стоимости; но — случай совершенно невероятный — она была адресована во вражескую страну; она была адресована Жану Лабурдену, владельцу книжного магазина на набережной Гренель в Париже; некий Якоб Мендель жаловался, что не получил последних восьми номеров ежемесячника «Bulletin bibliographique de la France»¹, несмотря на то, что за него уплачено за год вперед. Чиновник военного ведомства, бывший преподаватель гимназии, по внутренней склонности беллетрист, на которого напялили синий мундир ополченца, пришел в изумление, когда в его руки попал этот документ. Глупая шутка, подумал он. Среди двух тысяч писем, которые он еженедельно перлюстрировал, прочитывал, выискивая в них подозрительные обороты и шпионские сведения, он еще ни разу не наталкивался на такую нелепость: чтобы человек преспокойно написал письмо из Австрии во Францию и просто-напросто опустил в почтовый ящик открытку, адресованную во вражескую страну, точно с 1914 года границы не обнесены колючей проволокой и Франция, Германия, Австрия и Россия каждый божий день не сокращают численность своего мужского населения на несколько тысяч человек. Поэтому он сперва положил открытку как курьез в ящик стола, не считая нужным докладывать о такой чепухе. Но несколько недель спустя пришла еще одна открытка, адресованная в книжный магазин Джона Олдриджа, Лондон, Холборн-сквер, с запросом, нельзя ли получить последние номера «Antiquarian»², и опять на ней стояла подпись того же чудака, Якоба Менделя, который с трогательным простодушием сообщал свой полный адрес. Тут уж преподаватель гимназии вспомнил, что на нем военный мундир. Быть может, за этой дурацкой шуткой кроется какой-нибудь зашифрованный смысл? Чиновник встал, вытянулся в струнку и положил обе открытки на стол майору. Тот пожал плечами: странный случай! Прежде всего он дал знать в полицию и велел удостовериться, существует ли в действительности такой Якоб

¹
«Библиографический бюллетень Франции»
(франц.).

²
«Антиквар» (англ.).

Мендель, и через час Якоб Мендель был арестован и, еще не опомнившийся от неожиданности, приведен к майору. Майор предъявил ему таинственные открытки и спросил, признает ли он, что является их отправителем. Рассерженный строгим тоном допроса и особенно тем, что его оторвали от чтения нужного каталога, Мендель почти грубо заявил, что, конечно, эти открытки он написал. Надо полагать, что человек имеет право требовать номера журнала, за которые уплачены деньги. Майор повернулся к лейтенанту, сидевшему за соседним столом. Они переглянулись — оба подумали одно и то же: набитый дурак! Потом майор стал раздумывать — прогнать ли простофилю, предварительно выругав, или отнестись к делу серьезно. При наличии таких колебаний любое ведомство прежде всего прибегает к протоколу. Протокол — это всегда хорошо. Если он и не принесет пользы, то и повредить не может, и к миллионам бессмысленно исписанных листов бумаги прибавится еще один.

В этом случае, однако, он повредил ничего не подозревавшему бедняге, ибо уже при третьем вопросе обнаружилось роковое обстоятельство. Прежде всего спросили его имя: Якоб, правильное Янкель, Мендель. Профессия: торговец вразнос (так было сказано в его документе, разрешения на торговлю книгами он не имел). Третий вопрос повлек за собой катастрофу: место рождения. Якоб Мендель назвал местечко около Петрикова. Майор поднял брови. Петриков? Разве это не в русской Польше, близ границы? Подозрительно! Очень подозрительно! И уже более строгим тоном майор спросил, когда Мендель принял австрийское подданство. Очки Менделя с недоумением уставились на майора: он не понимал, чего от него хотят. Где, черт возьми, его бумаги, документы? У него нет никаких документов, кроме удостоверения, что он торговец вразнос. Брови майора поднялись еще выше. Пусть он, наконец, объяснит толком, какого он подданства! Отец его — австриец или русский? Мендель, не сморгнув, ответил: конечно, русский. А он? О, он уже тридцать три года тому назад перебрался через границу, чтобы не отбывать воинскую повинность, и с тех пор живет в Вене. Майор еще больше насторожился. А когда он стал австрийским подданным? Зачем? — спросил Мендель. Он никогда не интересовался такими вещами. Значит, он и сейчас еще русский подданный? И Мендель, которому эти пустые расспросы уже давно надоели, равнодушно ответил:

— Собственно говоря, да.

Майор с испугу так резко откинулся на спинку крес-

ла, что оно затрещало. И это возможно? В Вене, в столице Австрии, в разгар войны, в конце 1915 года, после Тарнова и большого наступления, как ни в чем не бывало разгуливает русский, пишет письма во Францию и Англию, а полиции и дела нет. И после этого газеты выражают удивление, что Конрад фон Гетцендорф не добрался сразу до Варшавы, а в генеральном штабе изумляются, что каждое передвижение войск становится известно в России. Лейтенант тоже встал и подошел к столу; разговор быстро превратился в допрос. Почему он сразу не заявил о себе как об иностранце? Мендель, все еще ничего не подозревая, ответил нараспев с еврейским акцентом: «И зачем мне было вдруг заявлять о себе?» В этом ответе вопросом на вопрос майор усмотрел вызов и угрожающе спросил, читал ли он предписание об этом. Нет! Может быть, он и газет не читает? Нет!

Оба чиновника устались на слегка встревоженного Якоба Менделя, словно луна свалилась с неба прямо в их канцелярию. И вот затрещал телефон, застучали пишущие машинки, забегали ординарцы, и Якоб Мендель был передан в гарнизонную тюрьму, с тем чтобы со следующей партией отправиться в концентрационный лагерь. Когда ему приказали следовать за двумя солдатами, он растерянно оглянулся. Он не понимал, чего от него требуют, но особенно не беспокоился. Что дурного мог замыслить против него этот человек в шитом золотом воротнике, с грубым голосом? В его высшем мире, мире книг, не было войны, не было недоразумений, лишь вечное познание и стремление ко все большему и большему познанию чисел и слов, имен и заглавий. И он безропотно поплелся между двумя солдатами вниз по лестнице. Только когда в полицейском участке вытащили все книги из карманов его пальто и потребовали бумажник, набитый сотней нужных записок и адресами клиентов, он начал яростно обороняться. Пришлось его усмирить. Но увы! При этом упали на пол очки, и магический телескоп, открывавший ему духовный мир, разбился вдребезги. Два дня спустя его отправили в легком летнем пальтишке в концентрационный лагерь для русских гражданских лиц близ Коморна.

Какие нравственные мытарства претерпел за эти два года, проведенные в концентрационном лагере, Якоб Мендель, лишенный своих возлюбленных книг, среди равнодушной, грубой, большей частью неграмотной толпы, в этом огромном человеческом загоне, какие страдания он вынес, вырванный из высшего и единственного для него мира книг, как орел с подрезанными крыльями из своей стихии,— об этом нет никаких свидетельств.

Но мир, отрезвившись от безумия, постепенно начинает понимать, что из всех жестокостей и преступлений этой войны самым бессмысленным, ненужным и потому морально ничем не оправданным было содержание за колючей проволокой ни в чем не повинных людей, давно вышедших из призывного возраста, живших много лет в чужой стране и слепо веривших в священный закон гостеприимства, соблюдаемый даже тунгусами и арауканами, и потому своевременно не бежавших; это преступление против цивилизации с равной бессмысленностью совершалось во Франции, Германии и Англии — на каждом клочке земли потерявшей рассудок Европы. И может быть, Якоб Мендель в числе многих сотен невинных жертв сошел бы с ума, погиб от дизентерии, упадка сил или душевных потрясений, если бы в последнюю минуту чистая случайность, весьма характерная для Австрии, не вернула Менделя в его мир. Дело в том, что после его исчезновения приходили адресованные ему письма от знатных клиентов: граф Шенберг, бывший наместник Штейермарка, страстный коллекционер геральдической литературы, бывший декан богословского факультета Зигенфельд, трудившийся над комментариями к Августину, восьмидесятилетний адмирал в отставке Эдлер фон Пизек, все еще дорабатывающий свои мемуары, — все они, его верные клиенты, писали к нему в кафе Глюк; некоторые из этих писем были пересланы исчезнувшему букинисту в концентрационный лагерь. Там они попали в руки полковника, случайно пребывавшего в хорошем настроении; он удивился знакомству столь знатных людей с этим маленьким полуслепым, грязным евреем, который, с тех пор как лишился очков (у него не было денег на покупку новых), словно крот, молча сидел в своем углу. Тот, у кого такие связи, вероятно, не совсем обыкновенный человек! Полковник разрешил Менделю ответить на письма и обратиться к своим покровителям за помощью. Они не замедлили оказать ее. С обычной для коллекционеров горячей солидарностью их превосходительства и декан использовали свои связи и совместной порукой добились того, что Мендель-букинист в 1917 году, после двухлетнего с лишним заключения, вернулся в Вену, правда, под условием ежедневной явки в полицию. Но все же он был на свободе, в своей прежней тесной, ветхой мансарде, мог любоваться выставленными в витринах книгами и, главное, мог вернуться в кафе Глюк.

О возвращении Менделя из преисподней в кафе фрау Споршилль рассказала мне по собственным воспоминаниям.

— В один прекрасный день — Иисус Мария, я глазам своим не поверила — отворяется дверь, только на щелочку — лишь бы просунуться, он ведь всегда так делал, — и входит наш бедный господин Мендель. На нем была солдатская шинель, вся в заплатах, а на голове и не поймешь что, может, когда-то это была шляпа, да валялась на помойке. Без воротничка, сам точно мертвец, лицо серое, весь седой и такой худющий — глядеть жалко.

Но он входит, будто ничего не случилось, ни о чем не спрашивает, ничего не говорит, идет прямо к столу, снимает пальто, но уж не так легко и проворно, как раньше, а трудно этак дышит. И ни одной книги он не принес с собой, как бывало прежде, а просто садится и сидит, ни слова не говоря, только смотрит перед собой совсем пустыми, потухшими глазами. Уж потом, когда мы ему принесли целый ворох бумаг, пришедших для него из Германии, он стал опять читать. Но он был уже не тот, не прежний.

Нет, он был не прежний, не был тем *Miraculum mundi*³, волшебным всесветным механизмом, регистрирующим книги: все видевшие его в то время с грустью это подтвердили. Казалось, что-то навеки изменилось в его обычно тихом, словно дремлющем взоре, устремленном в книгу; что-то было разрушено: видимо, страшная кровавая комета в своем бешеном беге не пощадила и скромного мирного светила его книжной вселенной. Глаза, десятки лет взиравшие на нежные, безмолвные, похожие на лапки насекомых печатные буквы, увидели, должно быть, много ужасного в обнесенном колючей проволокой человеческом загоне, ибо веки тяжело нависли над ними; некогда насмешливые, а теперь тусклые, воспаленные, они прятались за плохо связанными тонким шпагатом очками. И что хуже всего: в совершенном здании его памяти рухнул, очевидно, один из контрфорсов, и все строение пошатнулось; ибо наш мозг, этот созданный из нежнейшего вещества механизм, этот тончайший точный прибор нашего познания, так хрупок, так сложен, что достаточно задетого сосуда, одного потревоженного нерва, переутомленной клетки, малейшего изменения какой-нибудь молекулы, чтобы нарушить вышнюю всеобъемлющую гармонию человеческого ума.

И в памяти Менделя, в этой единственной в своем роде клавиатуре знаний, теперь, после его возвращения,

западали клавиши. Если время от времени кто-нибудь приходил за справкой, он усталым взором всматривался в посетителя и не сразу понимал; он плохо слушал, забывал, о чем его спрашивают. Мендель уже не был прежним Менделем, как мир — прежним миром. Исчезла былая сосредоточенность; он больше не раскачивался, читая, а сидел неподвижно, машинально уткнувшись в книгу очками. Голова его, рассказывала фрау Споршилль, тяжело опускалась на книгу, и он засыпал среди беладня; иногда часами глядел на непривычный свет вонючей ацетиленовой лампы, которую ставил ему на стол, — из-за нехватки угля электростанция не работала. Нет, Мендель не был уже прежним Менделем, чудом из чудес, а всего лишь никому не нужным комом бороды и платя, застрявшим на столе, некогда бывшем треножником пифии. Он уже был не красой и гордостью кафе Глюк, а его позором, грязным пятном, обузой, дурно пахнущим, всем мешающим нахлебником.

Таким считал его и новый владелец кафе, Флорпан Гуртнер из Ретца, разбогатевший в голодный 1919 год на спекуляциях мукой и маслом и уговоривший добродушного Штандгартнера продать ему кафе Глюк за восемьдесят тысяч быстро обесценивающихся бумажных крон. Он взялся за дело крепкими руками крестьянина, поспешно переделал старинное почтенное кафе на более модный лад, в удачно выбранный момент приобрел за обесцененные бумажки новые кресла, отделал мрамором вход и начал переговоры о найме соседнего помещения, чтобы соорудить эстраду для оркестра. При этом спешном переустройстве ему, конечно, сильно мешал выходец из Галиции, один занимавший с раннего утра до позднего вечера целый стол и за все время выпивавший только две чашки кофе с пятью булочками. Штандгартнер, правда, обратил особое внимание нового владельца на этого завсегдатая кафе и пытался объяснить, какой замечательный человек Якоб Мендель, — он его передал, так сказать, вместе с инвентарем, как некое обязательство, лежащее на заведении. Однако Флорпан Гуртнер заодно с новой мебелью и блестящей алюминиевой кассой обзавелся и крепкой совестью времен легкой наживы; он ждал только предлога, чтобы вымести этот последний остаток провинциального убожества из своего столичного кафе. Подходящий случай вскоре подвернулся, ибо Якобу Менделю жилось плохо. Его последние сбережения перемолола бумажная мельница инфляции, своих клиентов он растерял. Таскаться по лестницам, скупать и перепродавать книги было уже не по силам старому Менделю. Туго ему приходилось, об этом говорила сотня

признаков. Лишь изредка посылал он за обедом в ресторан и даже небольшую сумму за кофе и хлеб оставался должен — однажды он задержал плату на три недели. Уже тогда обер-кельнер собирался его выставить, но сердобольная фрау Споршилль пожалела Менделя и поручилась за него.

А в следующем месяце разразилась катастрофа. Уже несколько раз новый обер-кельнер замечал, что при подсчете булок цифры не сходятся. Каждый раз булок оказывалось меньше, чем было заказано и оплачено. Разумеется, подозрение пало на Менделя, ибо уже не раз приходил старик посыльный и жаловался, что Мендель должен ему деньги за полгода и не платит ни одного геллера. Обер-кельнер стал зорко следить за ним, и спустя два дня ему удалось, спрятавшись за каминный экран, подглядеть, как Якоб Мендель встал со своего места, крадучись, перешел в первую комнату, быстро выхватил из корзины две булочки и начал жадно поглощать их. Расплачиваясь за кофе, он уверял, что булок не ел. Все было ясно. Кельнер сейчас же доложил о происшествии господину Гуртнеру, и тот, обрадовавшись случаем, накричал на Менделя в присутствии всех посетителей, обвинил его в краже и еще хвалился тем, что не посылает за полицией. Но он велел Менделю сейчас же убираться к черту и больше не появляться здесь. Якоб Мендель выслушал это молча, дрожа всем телом, поднялся со своего места и ушел.

— Просто страх! — говорила фрау Споршилль, описывая его изгнание. — Никогда не забуду, как он встал, сдвинул очки на лоб, а сам бледный, как полотно. И пальто даже не надел, а на дворе январь, — вы помните, пебось, какие холода стояли. И книгу свою он забыл на столе с перепугу. Я как увидела, хотела бежать за ним, но он уже вышел. Пойти за ним на улицу я не посмела, потому что в дверях стоял господин Гуртнер и так ругался, что люди останавливались. Стыд и срам! Я прямо сгорала со стыда! Никогда бы того не было при старом хозяйине; господин Штандгартнер ни за что бы не выгнал человека из-за каких-то булок, у него Мендель мог бы даром кормиться до самой смерти. Но у нынешних людей нет сердца. Прогнать беднягу с места, где он просидел тридцать с лишком лет изо дня в день, — это уж такой срам, такой грех! Не хотела бы я за это отвечать перед господом богом, нет, не хотела бы.

Добрая старушка разгорячилась и со свойственным старости многословием все твердила о том, какой это грех и что никогда бы господин Штандгартнер так не сделал. В конце концов я прервал ее вопросом, что же

сталось с нашим Менделем и довелось ли ей еще увидеть его. Тут она встрепелась и продолжала свой рассказ:

— Верите ли, как иду мимо его стола, так меня словно по сердцу полоснет. Все думаю, где ж он теперь, бедный господин Мендель, и если бы я только знала, где он живет, я бы снесла ему поесть чего-нибудь горячего: откуда было ему взять денег на топку и на еду? Родных у него, должно быть, никого не было. Ну, время-то идет, а о нем ни слуху ни духу, я и стала думать, что, видно, его нет уже в живых и не увижу я его больше. И даже подумываю, не надо ли отслужить панихиду по нему; ведь такой был хороший человек, и знала я его больше двадцати пяти лет.

Но вот как-то в феврале, в половине восьмого утра, я только взялась чистить медные затворы на окнах — вдруг (я думала, меня хватит удар) открывается дверь и входит Мендель. Вы ведь знаете, он всегда боком протискивался в дверь, робко этак, но уж тут — и не поймешь как. Я замечаю, что-то с ним неладно, глаза у него горят, а сам-то, господи боже мой, — одни кости да борода! Гляжу я на него, вижу, он вроде не в себе, и вдруг поняла: да он ничего не чувствует, бродит среди бела дня как во сне, он все забыл — и про булки, и про господина Гуртнера, и как выгоняли, — он себя не помнит. Господин Гуртнера, слава богу, еще не было, а обер-кельнер пил кофе. Я подбежала к Менделю, хочу ему сказать, чтобы он не оставался здесь, не то этот грубиян опять выгонит его (тут она, опасливо оглянувшись, поправилась), я хотела сказать — господин Гуртнер. «Господин Мендель!» — окликнула я его. Он взглянул на меня и тут, — боже мой, если бы видели, — тут он, должно быть, сразу все припомнил; он вздрогнул и затрясся; не только руки дрожали, он трясся весь, всем телом; повернулся и пошел прочь, а у дверей и свалился. Мы вызвали по телефону «Скорую помощь», и его увезли. Он был в лихорадке, а вечером кончился: доктор сказал, от воспаления легких, и еще он сказал, что, может, он уже был в беспмятстве, когда приходил к нам. Он пришел и сам не зная как, словно во сне. Не шутка тридцать шесть лет изо дня в день сидеть за одним и тем же столом: этот стол и был ему домом.

Мы долго еще говорили о нем, мы, последние из знавших этого странного человека; несмотря на свое микроскопически мелкое существование, он дал мне, неопытному юнцу, первое понятие о жизни, всецело замкнувшейся в духе, а для нее, бедной, задавленной тяжелым трудом уборщицы, не прочитавшей на своем

веку ни одной книги, он был только товарищем по несчастью, таким же, как она, бедняком, которому она двадцать пять лет чистила пальто и пришивала пуговицы. И все же мы отлично понимали друг друга здесь, за его старым покинутым столом, сообща вызывая в нашей памяти его облик; ибо воспоминания всегда объединяют, и вдвойне — воспоминания, проникнутые любовью. Но вдруг старушка спохватилась:

— Господи, что же это я! Книга-то, что он тогда оставил на столе, ведь она и сейчас у меня. Я же не знала, куда ему отнести ее. А после, как за ней никто не приходил, я и подумала: оставлю я ее себе на память. Дурного в этом нет, правда? — Она торопливо вышла и принесла мне книгу. Я с трудом подавил улыбку; как охотно вечно игривая, нередко насмешливая судьба без злости примешивает к жизненным драмам комический элемент. То был второй том «*Bibliotheca Germanorum egotica et curiosa*»⁴ Гайна, хорошо известный каждому библиофилу справочник по галантной литературе. Как раз этот скабресный перечень — *habent sua fata libelli*⁵ — оказался последним заветом, переданным покойным магом и волшебником в натруженные, красные, неискушенные руки, никогда, вероятно, не державшие ни одной книги, кроме молитвенника. Я плотно сжимал губы, сясь подавить невольную улыбку, и мое минутное молчание смутило честную женщину. Может быть, это что-нибудь очень дорогое, или все-таки можно оставить себе?

Я крепко пожал ей руку. — Оставьте ее себе, наш старый друг Мендель порадовался бы, если бы узнал, что среди тысяч людей, обязанных ему нужной книгой, есть хоть один, сохранивший о нем память.

Я ушел из кафе, и мне было стыдно перед этой доброй старой женщиной, которая в простоте души, но с истинной человечностью сохранила верность покойному. Ибо она, неграмотная, хоть сберегла книгу, чтобы чаще вспоминать о нем, я же годами не помнил о Менделевукинисте, я, который должен бы знать, что книги пишутся только ради того, чтобы и за пределами своей жизни остаться близким людям и тем оградить себя от неумолимого врага всего живущего — тлена и забвения.

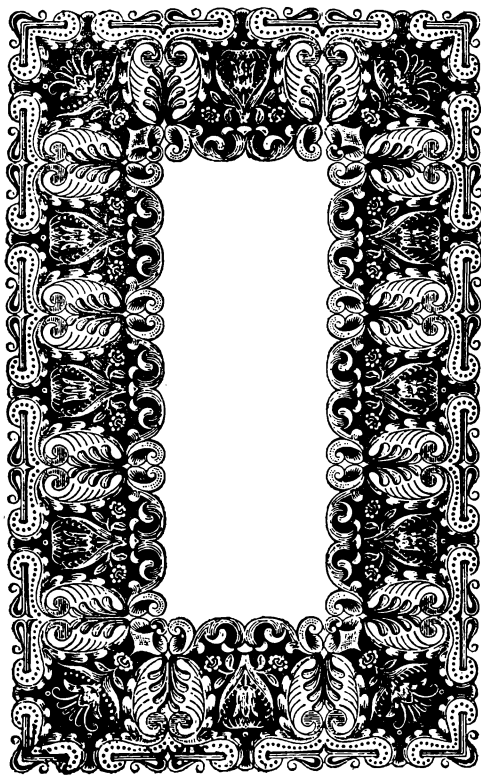
4

«Библиотека пемецкой эротической и занимательной литературы» (лат.).

5

Книги имеют свою судьбу (лат.).

ЧАРЛЗ ЧЕЧНАТ



Чарлз Уоддел Чеснат
Charles W. Chesnutt
1858—1932

Американский прозаик и журналист;
всю жизнь работал стенографом.
Большинство произведений Чесната
вышло в свет на рубеже двух веков;
основной их темой была жизнь негров на
американском Юге.
Советский читатель впервые
знакомится с его творчеством.

«ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ» БАКСТЕРА

«Прокрустово ложе» — так называется книга, изданная Бодлеянским клубом. Членами Бодлеянского клуба состоят джентльмены высокой культуры, любители книг и коллекционеры. Насколько мне известно, клуб был назван так в честь знаменитой Бодлеянской библиотеки в Оксфорде, и он стал неким подобием храма не только для местных почитателей величественных особняков и редких книг, но и для паломников из других городов. Бодлеянский клуб принимал у себя в свое время Марка Твена, Джозефа Джефферсона и других литературных и театральных знаменитостей. Он обладает весьма значительной коллекцией экспонатов, принадлежавших прославленным писателям. Среди них — пресс-папье Гёте; карандаш, которым писал Эмерсон; автограф письма Мэтью Арнольда; есть даже щепка от дерева, срубленного мистером Гладстоном.

Библиотека клуба хранит немало редких книг, в том числе образцовое собрание литературы о шахматах — игре, которой предаются с увлечением некоторые наши члены.

Однако деятельность клуба не ограничена книгами. У нас очень красивое здание, обставленное с большим вкусом и изысканностью. Вестибюль украшают хорошие картины, среди них портреты многих прежних президентов клуба. Кроме книг, заслуживает особого внимания наша коллекция трубок. На длинной полке в курительной комнате (комнате, по сути, ненужной, ибо курить разрешается во всех помещениях) собрана такая коллекция трубок, равной которой, пожалуй, не сыскать нигде еще в цивилизованном мире. Причем у нас есть неписанное правило: каждый, кто желает стать членом клуба, должен приложить к своему заявлению оригинальную трубку, и, если он принят, его трубка включается в коллекцию, хотя значится под его фамилией. Раз в год, в годовщину смерти сэра Уолтера Рэля, который, как известно, первый познакомил Англию с табаком, все члены, в полном составе, являются в клуб. В этот вечер выкладывают на столы пачки самого лучшего, дорогого табака. Ровно в девять каждый снимает с полки свою трубку, набивает табаком и закуривает, а затем мы все, с президентом во главе, отчаянно дымя, совершаем ритуальный обход всех помещений клуба, после чего возвращаемся в курительную. Там наш президент произносит

речь и, окончив, предлагает каждому члену взять слово: либо процитировать какого-нибудь автора, либо высказать собственную хвалу никотину. По окончании церемонии все тщательно выбивают трубки и возвращают их на место.

Однако, как я уже сказал, *raison d'être*¹ нашего клуба и главный источник его известности составляет коллекция редких книг, среди которых наиболее примечательны наши собственные издания. Даже каталоги у нас выглядят как произведения искусства; они выпускаются в считанных экземплярах и служат предметом охоты библиотек и коллекционеров. Все книги, издаваемые Бодлеянским клубом с самого начала его существования, отвечают павысшим требованиям, какпе предъявляют коллекционеры. Естественно, что на древность наши книги не претендуют, но по части великолепных, оригинальных переплетов, выделанной по особому заказу «под старину» бумаги, особого формата листов с необрезанными краями, широких полей и сугубо ограниченных изданий Бодлеянский клуб умеет, бесспорно, задавать тон.

Честно говоря, содержанию книг здесь отводится второстепенная роль. Вначале издательский комитет заявлял, что только самые великие творения человеческого гения будут увековечены в превосходных изданиях клуба. Однако оказалось, что все решает размер произведения: длинные тексты не вмещались в изящные тонкие томики с широкими полями. Например, мы издали «Поэму о старом моряке» Кольриджа, одно эссе Эмерсона и одно эссе Торо. Вышел из печати наш «Рубайят Омара Хайяма» в переводе Херон-Аллена, выполненном с манускрипта, хранящегося в Бодлеянской библиотеке в Оксфорде, который, хотя уступает в поэтических достоинствах переводу Фитц-Джеральда, однако менее известен читателям. А несколько лет тому назад мы приняли издание трудов своих членов. Как весьма удачный пример назову эссе Бэскома «О курительных трубках». Оно было выпущено в количестве 100 экземпляров и так как нигде до тех пор не печаталось и авторское право принадлежит нашему клубу, стало редкостью и приобрело большую ценность.

Вторым шагом было издание поэмы Бакстера «Прокрустово ложе».

Я не успел сказать, что один или два раза в год, на собрании, о коем объявляют заблаговременно, в Бодле-

1

Смысл существования (*франц.*).

яском клубе проводится книжный аукцион. Члены клуба присылают на аукцион либо дублиеты из своих библиотек, либо даже единственные экземпляры, почему-то оказавшиеся ненужными, и все эти книги идут с молотка за наивысшую цену. На наших аукционах собирается много посетителей; в последнее время стали пользоваться особым спросом собственные издания клуба. Три года тому назад эссе Бэскома под № 3 «О курительных трубках» было продано за 15 долларов, клубу это издание обошлось в один доллар 75 центов. На следующем аукционе разрезанный экземпляр того же эссе был продан за 25 долларов, а неразрезанный — за 75. Мы и раньше понимали ценность неразрезанных книг, но подобный финансовый успех значительно повысил их привлекательность. Столь стремительное вздорожание эссе «О курительных трубках» не могло не отразиться и на других изданиях клуба. Так, эссе Эмерсона подскочило с 3 долларов до 17, а Торо, автор не слишком популярный и, по его собственному признанию, не пользующийся коммерческим успехом, все же перешел к новому владельцу по цене, несколько выше номинальной.

Теперь надо было всеми силами не допускать падения цен. Каждый член клуба был обладателем одного или нескольких драгоценных томов, и потому все были откровенно заинтересованы в курсе на повышение.

Но самые большие деньги принесло (хотя, не будь тогда припаты контрмеры, это могло начисто смести всю систему!) «Прокрустово ложе» Бакстера.

Бакстер был, пожалуй, самым образованным членом Бодлеянского клуба. Выпускник Гарвардского университета, он много путешествовал, много читал и, хотя был менее привержен коллекционированию, нежели иные из нас, но имел солидную собственную библиотеку, как всякий благопристойный молодой человек в нашем городе. Ему было лет 35, когда он вступил в члены клуба, и, видимо, какой-то горький жизненный опыт, то ли разочарование в любви, то ли крушение надежд, наложил отпечаток на его характер. Приятная внешность Бакстера — светлые вьющиеся волосы, свежее лицо, серые глаза — позволяла предположить приветливый характер и, может быть, пристрастие к красивой фразе. Он же лишь в редких случаях позволял себе шутку, чаще говорил с некоторым цинизмом, выражавшим мрачную пессимистическую философию, столь чуждую внешнему облику этого человека, что побуждало нас искать причину в какой-то тайной печали. Какой имен-

но — никто не знал. Он имел состояние и успех в обществе и был, как я уже сказал, очень хорош собой. То, что он оставался холостяком до 35 лет, поддерживало теорию о несчастной любви, хотя его друзья из числа членов нашего клуба не могли этого подтвердить.

У меня закралось подозрение: быть может, Бакстер неудачливый писатель? Что он поэт, мы знали хорошо. Его стихи, отпечатанные на машинке, время от времени циркулировали среди членов клуба. Но сам Бакстер неизменно высказывал такое глубокое презрение к современной литературе, не уставал говорить о своей жалости к рабам сочинительства, чей кусок хлеба и признанию талантов зависят от каприза неразборчивых читателей, что никто из нас не мог заподозрить у него желания печататься, покуда мне, повторяю, не пришло вдруг в голову, что его отношение к этому вопросу не только причина, но и следствие: презрение к гласности, возможно, породили неудачи в достижении цели, а то, что его не печатали, могло в нем выработать высокомерную предвзятость к вульгарной известности, которую приходится разделять с очередным героем дня — боксером или воздухоплавателем.

Справедливости ради надо сказать, что не сам Бакстер подал мысль об издании «Прокрустова ложа». Но он посвятил кое-кого из членов в замысел поэмы, и вскоре всему клубу стало известно, что Бакстер работает над каким-то замечательным произведением. Он несколько раз читал отрывки небольшим группам друзей в гостиной нашей библиотеки — никогда не более десяти строк и никогда не более чем пяти слушателям одновременно, и эти отрывки позволили хотя бы некоторым получить довольно ясное представление об идее и цели его поэмы. Мне, во всяком случае, стало понятно, что она полностью отражает философию Бакстера. Общество — это Прокруст, оно, как разбойник греческого мифа, хватает каждого пришельца в этот мир, чтобы уложить в какую-то искусственную мерку — всегда такую, к которой тот меньше всего приспособлен. В мире полно мужчин и женщин, которые никогда не найдут себе места в жизни. Большинство браков несчастливы, ибо жения чуждые друг другу люди. Религия не больше как суеверие; наука — по большей части лженаука; народное образование — это система обучения тупиц в ущерб одаренным, и цель ее — подогнать подрастающее поколение, всю молодежь под общий унылый, бездушный уровень заурядной посредственности. В скором времени жизнь станет настолько стандартной и однообразной, что едва ли стоит жить.

Идея издать «Прокрустово ложе», если не ошибаюсь, принадлежала Смитю. Но автор не проявил восторга, когда к нему обратились, и довольно долго колебался, утверждая, что его поэма не заслуживает публикации. Все же, услышав, что хотят выпустить всего 50 экземпляров, он обещал подумать. Я помнил свое тайное предположение насчет литературных неудач Бакстера и сказал ему, что при столь малом тираже он может быть спокоен, что книга попадет только в руки его друзей и недоброжелательному критику нелегко будет ее раздобыть; в крайнем случае, даже если книга кому-то не понравится, неуспех останется в рамках ограниченного круга. Бакстера мое замечание убедило, и, когда литературный комитет сделал ему официальное предложение, он согласился, хотя и с неохотой. Но он поставил условие, что будет самолично наблюдать за печатанием и переплетными работами, а также за доставкой книг подписчикам; комитету он обещал представить своевременно рукопись и выполнить все его требования по части оформления.

Бакстер представил рукопись в срок, но попросил не читать ее вслух на заседании, ибо не желал, чтобы поэма увидела свет без должного оформления; тогда комитет пошел дальше ему навстречу и, доверяя вкусу и эрудиции Бакстера, вежливо отказался от чтения рукописи, приняв к сведению сообщение автора о теме и ее разработке. Зато уж касательно оформления ни одна деталь не была упущена! Бумага — под старину, ручной выделки с фабрики Келмскот; шифр — старинно-готический английский со старинными буквицами. Переплет выбрал сам Бакстер: из темно-зеленого сафьяна с орнаментом на бордюре в виде колпачков с колокольчиками, нанесенным красной пленкой; переплет с внутренней стороны — из сафьяна каштанового оттенка, тисненый блинтом. Бакстера уполномочили договориться с типографией и наблюдать за исполнением работ. Все издание — 50 экземпляров — решили запродать заблаговременно, до выхода в свет, на аукционе, но не более одного экземпляра в одни руки; общая выручка должна была оправдать расходы по изданию, а остаток, если таковой окажется, поступит в кассу клуба. Бакстеру обещали экземпляр в качестве оплаты, но он запротестовал, мотивируя тем, что цена, наверное, превысит его гонорар.

В конце концов его все-таки уговорили согласиться принять авторский экземпляр.

В те дни, когда обсуждалось издание «Прокрустова ложа», один из членов прочитал нам на заседании заметку из какого-то журнала о том, что книга сонетов

Кампанеллы в новом переводе была продана в запечатанном виде за 300 долларов. На моих коллег это произвело колоссальное впечатление. Какая оригинальная идея! Какой великолепный способ сохранить навеки ценную книгу! Тогда уже ничей пошлый и неблагодарный взор не осквернит святыню, а сам владелец будет наслаждаться своим богатством, мысленно листая драгоценные страницы, испытывая высшую радость от того, что для других они недоступны. Литературный комитет тоже загорелся этой идеей и предложил Бакстеру осуществить ее при рассылке «Прокрустова ложа». Бакстер не возразил, и желающие получить запечатанный экземпляр заявили об этом автору. Я тоже послал заявление. Хорошая книга — это, в конце концов, верное вложение капитала, и коль скоро есть возможность сделать ее еще более уникальной и, как следствие, более ценной, я, понятно, не преминул воспользоваться.

Наконец, книга Бакстера появилась на свет, и подписчики получили свои экземпляры по почте в красивых картонных коробках. Каждая книга была завернута в тонкую, прозрачную, но очень прочную бумагу, сквозь которую просвечивали рисунок и тиснение на переплете. На обертке указан номер экземпляра, а загнутые концы бумаги с обеих сторон скреплены сургучом, на котором красовалась гарантия целостности: печать с монограммой Бодлеянского клуба.

На следующем нашем заседании много говорилось о «Прокрустовом ложе», и все единогласно признали, что это — наилучший образец, выпущенный Бодлеянским клубом. По случайному совпадению, никто не захватил с собой свой экземпляр, а два предназначенных для клубной библиотеки еще не доставил переплетчик. Бакстер пояснил, что на этих двух должны быть какие-то дополнительные украшения. По предложению коллеги, не участвовавшего в аукционе, была избрана комиссия из трех лиц для рецензирования поэмы на ближайшем заседании.

Я имел сомнительное счастье быть включенным в эту комиссию.

Естественно, что теперь мой долг был прочесть поэму. Для этого полагалось вскрыть мой экземпляр, но мне помешал вскоре последовавший новый аукцион. На нем был предложен экземпляр «Прокрустова ложа» в запечатанном виде, и он был приобретен посторонним лицом за фантастическую цену — 150 долларов! После этого я не решился сорвать сургучи со своего экземпляра и должен был искать другого способа прочесть поэму. Боясь показаться корыстным, я не сказал ниче-

го о своей запечатанной книге и не пытался одолжить у других, зато как бы вскользь заметил Бакстеру, что мне хотелось бы посмотреть его гранки, поскольку я собираюсь украсить свой отзыв цитатами, но боюсь доверить собственную книгу машинистке. Бакстер ответил мне с явным сожалением, что не считал их больше пужными и сжег в камине. Такое равнодушие к литературным ценностям с его стороны мне показалось несколько преувеличенным. Корректра Гамлета, правленая рукой Шекспира, наверное считалась бы бесценной!

В один из клубных дней я обратил внимание, что Томпсон и Дэйвис, избранные со мной вместе в комиссию по рецензированию, как-то подозрительно поспешно и с явной заинтересованностью подняли в курительной разговор о книге Бакстера, стараясь выяснить мнение остальных коллег. Понятно, любой отзыв о книге опирается, в большей или меньшей степени, на оценку тех, для кого он в сущности предназначен. Разумеется, я полагал, что и Томпсон, и Дэйвис, будучи подписчиками, прочли «Прокруста», и я, в свою очередь, хотел услышать их мнение.

— Как вы расцениваете главу об общественной системе? — спросил я. Поэма была написана, я забыл это сказать, белым стихом и разделена на главы, каждая под своим названием.

— Гм, — начал с некоторой осторожностью Дэйвис, — это не совсем Спенсер, хотя многое напоминает Спенсера, и довольно близко к Гегелю. Я бы назвал это гармоничным слиянием лучших мыслей всех современных философов с чертами мировоззрения Бакстера.

— Да, да, — подхватил Томпсон, — прелесть этой главы заключается именно в том, что в ней мы чувствуем Бакстера. И стиль ее отражает интеллект Бакстера, вы словно слышите его голос. Зная Бакстера, нам легко оценить его книгу, и, прочитав ее, мы чувствуем, что еще лучше узнали нашего коллегу — подлинного Бакстера.

Во время этой беседы Бакстер находился в комнате и курил, стоя у камина. Я не мог определить, что выражает его полуулыбка: удовольствие или цинизм; это было обычное выражение Бакстера, и я уже давно угадывал, что ни лицо, ни слова его не позволяют судить о его чувствах. Когда скончался калека — ребенок нашего клубного швейцара, Бакстер заметил, мне показалось, бесцеремонно, что так бедняжке лучше и сам швейцар избавился от обузы; а спустя неделю швейцар поведал мне по секрету, что Бакстер уплатил свои деньги за дорогостоящую операцию ребенка в надежде продлить его жизнь. Вот почему я перестал о чем-то судить по улыб-

ке Бакстера. Сейчас, не дослушав нашу беседу, он, к моему облегчению, вышел из комнаты.

— Кстати, Джонс,— обратился ко мне Дэйвис,— а вы согласны с взглядами Бакстера о вырождении?

Я часто слышал высказывания Бакстера о якобы тенденции современной цивилизации к упадку, и это позволило мне с уверенностью, чувствуя твердую почву под ногами, сделать широкий обзор его взглядов. Я говорил:

— Мне кажется, его идеи совпадают с идеями Шопенгауэра, но лишены его желчи, и с Нордау, но без его болтливости. Его материализм сродни геккелевскому, но представлен с обаянием Омара Хайяма.

— Это вы правильно подметили,— сказал Дэйвис,— и это отвечает настойчивому требованию наших дней. Недовольство наивным оптимизмом говорит о безбоязненной философии перед лицом неизвестности.

Мне смутно помнилось, что я где-то читал такие слова, но в наше время почти невозможно обсуждать любую серьезную тему, бессознательно не используя чужие мысли и чужие слова. Цитирование, как и подражание, составляет высшую форму лести.

— Эта поэма,— сказал Томпсон, которому поручили дать отзыв о форме «Прокруста»,— изложена в звучных строфах, они преследуют своей мелодией, причем содержание и форма до того прочно слиты, что невозможно цитировать отдельные строфы без боязни ослабить общее впечатление. Поэму надо читать целиком, чтобы справедливо оценить ее. Об этом я скажу в моем отзыве. А что вы скажете о качестве оформления? — обратился он ко мне.

Мне надлежало, как знатоку, дать оценку техническому совершенству нового издания.

— Оформление,— ответил я раздумчиво,— достойно этой жемчужины. Темно-зеленый переплет с роскошным тиснением, старинный английский шрифт, как бы старинная бумага — все это позволяет считать «Прокруста» одним из самых ценных наших изданий. И с точки зрения полиграфии оно безупречно — ничего лучшего нам не приходилось видеть по эту сторону Атлантики. Текст смотрится превосходно, извиваясь, подобно изящному ручейку среди широких полей.

Не помню, зачем я вышел на минуту из комнаты. В коридоре я почти столкнулся с Бакстером, стоявшим у двери; он созерцал гравюру на противоположной стене, изображающую охотничью сценку, и весело посмеивался.

— Забавная картинка,— сказал он мне.— Взгляните на этого старого жирного сквайра, оседлавшего такую

высокую верховую лошадь! Пари, что ему не одолеть и первой изгороди!

Умело маскируешься, но меня этим не обманешь! Под личиной безразличия Бакстер жаждал узнать наше мнение о его книге, для этого он и стоял в коридоре, чтобы оттуда слышать нашу беседу, не стесняя нас своим присутствием. Он скрывал свою радость от наших похвал, но делал вид, будто его рассмешила забавная граюра.

На обсуждение «Прокрустова ложа» собралось много нашей публики и даже несколько гостей, в том числе кузен одного коллеги, молодой англичанин, впервые в Соединенных Штатах; наши встречали его в других клубах и в обществе и находили весьма симпатичным, юношески-жизнерадостным и полным наивного невежества в отношении всего американского, что придавало свежесть его взглядам, а подчас бывало даже забавно.

Наши сообщения были хорошо подготовлены, хотя и несколько туманны.

Поэтический дар автора получил у всех докладчиков самую высокую оценку.

— Наш брат Бакстер, — говорил Томпсон, — не должен зарывать свой талант в землю. Данная жемчужина по праву принадлежит Бодлеянскому клубу, но творец, создавший столь великолепное произведение, может создать еще много других, этим вдохновляя и радуя благодарное человечество.

А Дэйвис продолжал:

— Отношение к жизни, выраженное автором в его превосходной поэме, поможет нам выдерживать на своих плечах тяжкое бремя существования, заставит осознать глубокую философскую истину, что через отчаяние можно прийти к надежде и в боли обрести известную радость. Когда Бакстер сочтет возможным одарить щедростью своих идей широкий круг читающей публики, всем этим богатством, к которому нам посчастливилось приобщиться, мы надеемся, что частица его славы достанется Бодлеянскому клубу. Никто не посмеет отнять у нашего клуба право заявлять с гордостью, что этот поэт состоял его членом.

Затем слово предоставили мне. Я указал на эстетические достоинства книги с точки зрения оформления. Я знал из бесед с нашим издательским комитетом, какие шрифты заказаны, что же касается переплета, то он хорошо просматривался через обертку моего запечатанного экземпляра. В заключение я сказал, что темно-зеленый переплет отражает серьезное отношение автора к жизни, подчеркивая этим необходимость долготерпения.

В то же время яркий, легкомысленный бордюр с шутовскими колпаками и колокольчиками символизирует самообман, посредством которого оптимист стремится уверить себя, что жизнь прекрасна. Сложное тиснение блин-том на форзаце намекает на судьбу, которая держит нас в неведении о нашем будущем, о нашем прошлом, и даже о том, что может произойти еще сегодня. Готический старо-английский шрифт, как и старинные инициалы в начале каждой строфы, подчеркивают философский пессимизм, смягченный, однако, пониманием того, что, выполняя свой долг, мы познаем смысл жизни и обретаем надежду на лучшую долю для человечества. Книга Бакстера в поэтической форме воплощает идеалы Бод-леянского клуба, одной этой поэмы достаточно, чтобы оправдать его существование. Если бы Бодлеянский клуб ничего не сделал ни в прошлом, ни в будущем, то уже одного издания «Прокрустова ложа» достаточно для самой высокой оценки его благотворной деятельности, ибо он произвел на свет шедевр.

На стол кто-то положил запечатанный экземпляр «Прокруста». Я подержал его в руке, стараясь сделать свои слова еще более весомыми, затем вернул на место.

Садясь после выступления, я заметил, что Хонкин, наш юный английский гость, сидевший напротив, взял книгу и с интересом ее разглядывает.

Когда стихли щедрые аплодисменты, стали вызывать виновника торжества:

— Бакстер! Бакстер! Автора!

Бакстер сидел все время в углу, откуда читали отзывы, и, как мне показалось, умело скрывал под маской циничного безразличия свою радость. Но общий энтузиазм подействовал и на него: было заметно, что он борется с каким-то сильным чувством, когда поднимался произнести ответное слово.

— Джентльмены, почтенные коллеги! — начал он. — Мне доставило неподдельное удовольствие — почему, я сейчас не скажу, — то внимание, с которым рецензенты исследовали мой скромный труд, то редкостное сочувствие, с которым друзья стремились понять мои взгляды на жизнь и на поведение человека. Большое вам спасибо! Я очень взволнован и потому прошу разрешить мне на этом кончить.

Бакстер вернулся на свое место; снова вспыхнули аплодисменты, как вдруг раздался чей-то громкий голос. Это кричал наш английский гость, по-прежнему сидевший за столом:

— Боже мой, первый раз вижу такую книгу!

Все окружили англичанина.

— Ничего не понимаю, — возбужденно говорил он, — вы все так превозносили эту замечательную книгу, что мне захотелось посмотреть, что же она собой представляет. И я развязал ленту и разрезал ножом, который здесь лежал, страницы, и я увидел, боже мой, я увидел, что в ней нет ни одной печатной строчки!

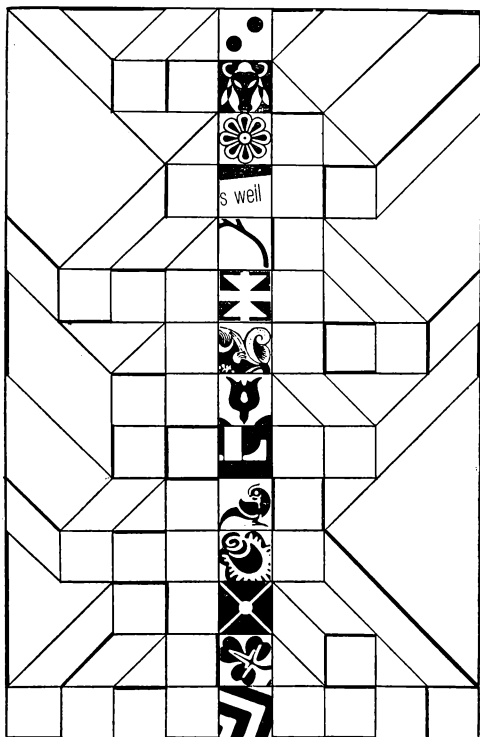
Мрачная тишина воцарилась сразу после этих слов, оказавшихся, увы, полной правдой. Каждый из нас инстинктивно понял, что Бодлеянский клуб был жестоко обманут. Воспользовавшись общим смятением, Бакстер исчез из зала, но позже, когда его вызвали дать объяснения, он сделал довольно робкое признание. Оп, мол, всегда считал вздором неразрезанные и запечатанные книги, и в данном случае ему было любопытно, как далеко дело может зайти, и результат лишь подтвердил его мнение, что книга с пустыми страницами ценится коллекционером наравне с книгой, заключающей в себе творение гения. Он предложил оплатить все расходы за «липового» «Прокруста» или заменить пустые экземпляры настоящими, как нам будет угодно. Но, разумеется, после такого оскорбления клуб уже не интересовался его поэмой. Впрочем, ему разрешили оплатить расходы и намекнули довольно прозрачно, что его заявление о выходе из клуба найдет понимание и будет принято. Кстати, он этого не сделал, но вскоре уехал в Европу, и эта история мало-помалу забылась.

В первый момент, возмущенные предательством Бакстера, многие из нас срезали сургучи со своих экземпляров, кое-кто послал их Бакстеру с колкими сопроводительными письмами, а кое-кто предал огню. Зато умные головы — их оказалось немного — сохранили свои книжки, и когда стало известно, как мало их осталось, заядлые коллекционеры поняли, какими упырьскими станут теперь эти экземпляры.

— Бакстер оказался умнее, чем мы предполагали, он и сам не понимал, до чего он умен, — говорил как-то вечером президент нашего клуба, беседуя с группой избранных, сидевших с ним у кампа. — Его «Прокруст» с точки зрения коллекционера совершенно логичен и может считаться вершиной книгоиздания. Для подлинного коллекционера книга — всегда произведение искусства, и содержание ее не более важно, нежели слова в опере. Художественное оформление — вот чего, как правило, не хватает книгам, а в этом смысле «Прокруст» достиг идеала. Бумага — выше всяких похвал. Широкие поля. Истинный коллекционер ценит широкие поля, а «Прокруст» — это одно сплошное поле, и в этом смысле мож-

но предсказать зарю нового дня. Тираж? Чем он меньше, тем сильнее желание коллекционера приобрести заветный экземпляр. Я слышал, что осталось только шесть неразрезанных и только три запечатанных,— из трех последних один посчастливилось сохранить мне.

Неудивительно, что после этой речи нашего президента на следующем аукционе, прошедшем с необычным оживлением, запечатанный экземпляр «Прокрустова ложа» Бакстера был продан за 250 долларов — рекордную сумму, какую никогда еще не приносило ни одно издание Бодлеянского клуба.



СТАНИСЛАВ
ЛЕМ

Станислав Лем
Stanislaw Lem
Родился в 1920 году.

Польский писатель,
видный представитель философской фантастики,
мастер сатирического гротеска.

Во многих своих романах, рассказах и эссе
Лем рассматривает возможные последствия
научно-технической революции для человека.

Многие произведения Станислава Лема
переведены на русский язык,
среди них — «Солярис», «Звездные дневники Ийона Тихого»,
«Астронавты», «Непобедимый», «Возвращение со звезд».

Поучительная история расцвета и упадка «Do Yourself a Book»¹ достойна того, чтобы ее сохранить для потомства. Эта повинка издательского рынка породила споры столь жестокие, что они заслонили само явление. Поэтому и по сей день неясно, что вызвало ее финансовый крах. Мысль опросить общественное мнение никому не пришла в голову и, скорее всего, к лучшему — ведь читатели, приговорившие ее к забвению, пожалуй, и сами не ведали, что творили.

Идея изобретения носилась в воздухе добрых двадцать лет, и остается только гадать, почему никто не взялся за это раньше. Я отлично помню первую партию сего литературного «конструктора». То были коробки величиной с увесистую книгу, и в каждой лежала инструкция, инвентарная опись и набор стройматериалов. Детальями конструктора служили нарезанные на полоски отрывки из классических романов. На полях каждой полоски были прорезаны дырочки — с их помощью цитаты легко «переплетались» в книгу — и стояло несколько разноцветных цифр. Разложив эту бумажную лашпу по порядку черных («главных») номеров, вы получали «исходный текст», т. е. литературный монтаж не менее чем из двух сокращенных классических романов. Конечно, если бы конструктор допускал только такую компоновку, он был бы лишен всякого, в том числе и коммерческого, смысла. Но полоски можно было менять местами, и в инструкции приводились обычно примеры других перестановок, помеченные цветными номерками на полях. Изобретение запатентовал «Универсал», запустивший для этого руку в классическое наследие, на которое давно истек срок авторских прав. То были сокращенные анонимным штатом редакторов произведения Бальзака, Толстого, Достоевского. Дальновидные издатели делали ставку на тех читателей, которым могло польстить право перевернуть и переиначивать шедевры мировой литературы. Берешь в руки «Войну и мир» или «Преступление и наказание» и делаешь с ними, что в голову взбредет: Наташа может пуститься во все тяжкие и до, и после замужества, Анна Каренина — увлечься лакеем, а не Вронским, Свидригайлов — беспрепятственно жениться на сестре Раскольникова, а этот последний, обманув правосудие, — укрыться с Соней в Швейцарии. И т. д. и т. п. Критики дружно обрушились

1

«Сделай книгу сам» (англ.).

на этот вандализм; издатели защищались и даже довольно ловко.

Инструкция рекламировала «Do Yourself a Book» как учебник литературной композиции («Незаменимое пособие для начинающих авторов!») и сборник проективных тестов («Скажи мне, что ты сделал с Анной из Грин Гэйблз, и я скажу, кто ты»); словом, то был якобы и тренажер для будущих писателей, и развлечение для любителей слова.

На деле издателей вели не столь возвышенные помыслы. В инструкции цитатой из «World Books» они предостерегали покупателя против опасных комбинаций текста, из-за которых невиннейшие сцены обретали привкус пошлости. Стоило переставить одну фразу (благо своя рука владыка), и обычный диалог превращался в любовную игру двух лесбиянок, а почтенное диккейсовское семейство — в вертеп кровосмесительных страстей. Конечно, то было лишь поощрение к действию, но закамouflированное, чтобы издателей нельзя было привлечь к суду за оскорбление нравственности — ведь они сами предупреждали, чего *не следует* делать!

Задыхаясь от бессилия (юридически все было шито-крыто, уж об этом-то издатели позаботились!), известный критик Ральф Саммерс так откликнулся на это изобретение: «Итак, современной порнографии уже мало, пришла пора втоптать в грязь великое наследие, которое всегда не только чуралось пошлости, но и открыто ей противостояло. Отныне жалкое подобие черной мессы тишком, в укрытии собственного дома, может отслужить за четыре доллара каждый желающий — такова цена подлинного падения!»

Однако вскоре стало ясно, что в своих мрачных пророчествах Саммерс хватил через край: фирма процветала совсем не так бурно, как ожидали ее создатели. В ответ они выпустили улучшенный вариант конструктора: сброшюрованный том чистых листов, покрытых особой мономолекулярной магнитной пленкой; стоило наложить на такую страницу цитату, как она приклеивалась сама собой. Тем самым переплетные работы предельно упростились, но и это ничего не дало. Неужто публика, как полагали некоторые ныне уже почти вымершие идеалисты, отказывалась «глумиться над классикой»? К великому своему сожалению, не могу согласиться с этой версией. Издатели про себя надеялись привлечь широкую аудиторию, тому свидетельство ряд мест в инструкции, приведен одно из них: «Тебе дается божественная власть над судьбами — недавняя привилегия одних лишь гениев человечества!»

В ответ Ральф Саммерс разразился следующей филиппикой: «Одним взмахом руки ты обращаешь в прах недостижимый образец душевного величия или бросаешь тень на идеал невинности, и все это с приятным чувством, что Толстой с

Бальзаком тебе больше не указ — теперь они всецело в твоей власти!»

Но странное дело, этих кандидатов в «осквернители» оказалось как-то особенно мало. Саммерс предсказывал расцвет нового сацизма — «всплеска агрессии против вечных ценностей культуры», а между тем «Do Yourself a Book» почти не имели спроса. Многим хотелось бы отнести это за счет «последних крупниц чести и природного разума, сильно помраченного судорогами антикультуры», как писал Л. Эванс в «Christian Science Monitor». Однако автор этих строк, увы, не разделяет такого мнения.

Что же на самом деле скрывалось за ходом событий? Позволю себе сделать очень простое предположение. Для Эванса, Саммерса, для меня и для нескольких сот критиков, оккупавшихся в университетских ежеквартальниках, и, скажем, для трех-четырёх тысяч высоколобых на всю страну и Свидригайлов, и Соня Мармеладова, и Вотрен, и Анна из Грип Гэйблз, и Растиньяк — личности известные, близкие и, правду сказать, подчас более реальные, чем многие наши добрые знакомые. А для широких масс их имена — просто случайный набор звуков. Свести Наташу и Свидригайлова было бы копушеством для высоколобых, а для всех остальных — не более, чем связью какого-то X с какой-то Y. Массовый читатель не знал их как вечный символ душевной чистоты или же разнузданного порока и потому не стал в них играть ни в первом и ни в каком другом варианте. Ему попросту дела не было ни до кого из них! И подумать только, что несмотря на весь свой цинизм издатели этого не предвидели! А все потому, что они плохо знают истинное положение дел на литературном рынке. Если человек считает какую-то книгу огромной духовной ценностью, а ее на его глазах кладут вместо половика у порога, он, конечно, начинает кричать в голос о вандализме и о черной мессе, что и случилось с Саммерсом.

Но безразличие к ценностям культуры зашло у нас гораздо дальше, чем кажется авторам конструктора. Верно, в него никто не стал играть, но не из высоких принципов, а просто потому, что большинство читателей не видит разницы между Толстым и убогим графоманом. Как известно, толпе присуща страсть топтать высокое, но, по ее мнению, тут и топтать-то было нечего!

Поняли ли издатели преподанный им урок? Полагаю, что так. Хотя вряд ли сказали это себе теми же словами, что я, однако ведомые нюхом, чутьем, инстинктом, они стали поставлять на рынок более ходкий товар — откровенно порнографическую мозаику. Горстка прекрасодушных снобов вздохнула с облегчением: великие останки отныне почтуют в мире. Сама же проблема потеряла для высоколобых всякий интерес, и со страниц элитарных журналов тотчас же исчезли

статьи, в которых они раздирали на себе одежды и посыпали пеплом свои яйцеобразные головы: обитателей Олимпа и их громовержцев обыденная жизнь рядовых читателей нимало не касается и ничуть не интересует.

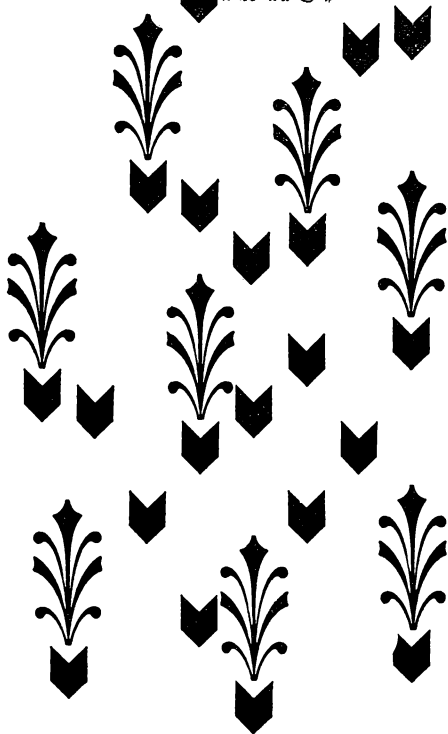
Потом, правда, Олимп еще раз встрепенулся. Это когда Бернар де ля Тай, состряпав роман из деталей «The Big Party», перевел его на французский язык и удостоился «Prix Femina». Дело не обошлось без скандала, так как оборотистый француз скрыл от жюри, что его детище — продукт компиляции, а не оригинальное сочинение. Правда, роман де ля Тая «Война в потемках» не лишен некоторых достоинств, и чтобы его скомпоновать, потребовалась определенная культура и литературное дарование, которыми обычные покупатели не могут похвастаться. Но этот случай ничего не изменил в судьбе конструктора, с самого начала было ясно, что эта затея колеблется между дурацким фарсом и коммерческой порнографией. На «Do Yourself a Book» никто не нажил капитала! А прекрасные идеалисты, привыкшие довольствоваться малым, утешаются сегодня тем, что бульварные персонажи не вламываются больше на паркет толстовских гостиных и благородные девицы, вроде Дуни Раскольниковой, не путаются с садистами и головорезами.

Жалкая пародия на «Do Yourself a Book» еще влачит существование в Англии, где можно купить литературные наборы для крошечных рассказиков «pure nonsense», и на потеху доморощенным писателям в бутылку льют не сок, а сквайров, сэр Галахад пылает страстью к своей лошади, а незадачливый пастырь во время мессы гоняет в алтаре игрушечные паровозики. Похоже, что англичан смешит эта абракадабра, иначе зачем бы им особые рубрики в журналах? На континенте же «Do Yourself a Book» практически вывелись.

Один швейцарский критик иначе, чем мы, объясняет финансовый крах этого предприятия: «Современный читатель слишком обленился, чтобы собственноручно раздевать, мучить и насиловать себе подобных. Теперь для этого есть профессионалы. Появись эта игра шестьдесят лет назад, она, наверное, имела бы спрос, но, опоздав родиться, она скончалась во младенчестве».

Что к этому прибавишь, кроме тяжелого вздоха?

ВАЛЬТЕР
КАУЭР



Вальтер Кауэр
Walter Kauer
Родился в 1935 г.

Швейцарский писатель и журналист.
Учился в Берне, Берлине и Абердине.

Автор романов, рассказов, пьес;
самые известные романы В. Кауэра
«Зеленая река, черная земля» (1968)
и «Неразборчивые сны» (1974).

Несколько рассказов В. Кауэра
уже знакомы советскому читателю.

ЧЕЛОВЕК С ТОЛКОВЫМ СЛОВАРЕМ

Эта деревня была вдали от больших дорог и не могла похвастаться знаменитой гостиницей, в которой останавливались бы знаменитые постояльцы. Всего-то и было в деревне примечательного, что маленькое станционное здание. Здание маленькое-премаленькое, но жители соседней деревни, и без того всегда задиравшие нос («мы, мол, не вам чета»), поговаривали, будто в нем по ночам гуляет нечистая сила.

Дома в деревне стояли такие, каким и полагается быть в настоящей деревне: чистые, побуревшие на солнце, в садах полно ярких цветов, растут они и в ящиках на подоконниках. Каждый дом огорожен высоким забором, а на маленьких калитках висят таблички: «Злая собака» или «Нищим не беспокоить».

В этой деревне жил крестьянин со своей семьей. В один прекрасный день он совершил неслыханный поступок. Деревенские кумушки долго шептались, а сорванцы-мальчишки не отставали от него до самого станционного здания: он решил купить билет на поезд. Смотритель станции рассказал об этом как бы между прочим за столом завсегдатаев в деревенской пивной, где он по обыкновению проводил вечер за картами с письмоводителем общины, районным инспектором каминов и общинным служкой.

Учителя в деревне не было, не то службу в светское общество не допустили бы. Школа находилась в соседней деревне, и зимой, когда снег заваливал дороги, дети в школу не ходили.

Итак, смотритель станции как бы между прочим рассказал поразительную новость: этот человек купил билет не просто до соседнего местечка и даже не в районный город. Нет, он позволил себе необъяснимое: едет в столицу.

Деревенская знать с осуждением качает головами; пытаются объяснить этому человеку, что предприятие его не только излишне, но и подозрительно. До сих пор никому не взбрело на ум пускаться в такую даль, и так до сих пор жили они все, и такими они помнят себя, так оно было и во времена дедов и отцов.

Но этот человек не дает сбить себя с толку. Раз уж он купил билет, он завтра поутру и отправится в путь. М-да, пожимают плечами они, кто бросается в пучину, того не удержать. А ведь даже в районной газете можно

прочсть, какие опасности подстерегают человека в большом городе.

Да и что ему вообще понадобилось в городе?

Он промолчал, ничего объяснить не стал, и у кумушек только забот прибавилось.

На другое утро он уехал, а деревенские сорванцы криками провожали его, пока он не скрылся из виду.

Сначала он ехал по узкоколейке, в районном городке пересел на скорый поезд и впрямь оказался в столице.

Чего он, собственно, искал, он не мог бы описать. Поэтому-то он ничего и не объяснил столу завсегдатаев. В нем родилось какое-то чувство, которое он и сам объяснить не мог.

Он блуждал по улицам и переулкам, заходил в магазины, разглядывал витрины, но чувство, родившееся в нем, это не имеющее имени чувство, шептало ему: «Погоди, все это не то!»

И вдруг этот деревенский житель оказался перед книжным магазином. В витрине было выставлено много книг — в пестрых обложках, толстых, тонких, с золотым обрезом, без него, и вдруг он осознал: да, вот оно. Вот почему я приехал в город. В витрине лежал толстый и удобовок очень дорогой том, а рядом с книгой стояла картонная табличка. На ней можно было прочсть, что, купив эту книгу, дорогой толковый словарь, ты получишь ответ на все вопросы.

Он вошел в магазин: знать ответ на все вопросы — это именно то, чего он жаждал; при этом он вспомнил о высшем свете своей деревни, о районном инспекторе каминов, который за столом завсегдатаев вечно кичился своей осведомленностью, так как ему часто удавалось заполучить у своего коллеги из соседней деревни районную газету, или о смотрителе станции, который иногда случайно приносил обрывок газеты: в него мясник заворачивал сервелат, которым смотритель любил полакомиться за завтраком.

Продавец в магазине был очень любезен с покупателем: как-никак книга очень дорогая. Конечно, из нее можно узнать все, подтвердил он, какую угодно приобрести — в кожаном переплете или в простом? Покупатель толком не знал, на что решиться, зато продавец знал, чего хочет. Он завернул в красивую бумагу том в кожаном переплете.

В поезде, по дороге домой, крестьянин не смог сдерживать своего любопытства. Он осторожно достал книгу и украдкой, словно разглядывая неприличный журналчик (такой, с голыми женщинами, был у общинного

служки, и он давал его посмотреть после учений пожарной команды; журнальчик вконец истрепался), стал перелистывать. Первым ему попало слово «крикун», и он прочитал все, что следовало знать о крикупах. А то, что следующим оказалось Крикундер, фамилия какого-то генерала, показалось ему вполне естественным и понятным.

Прежде чем пересест в вагончик узкоколейки, он спрятал книгу и сидел на скамейке с покрасневшим лицом; он уже предвкушал, как сможет козырнуть за столом завсегдатаев редким словечком. Мысленно он уже видел, как дергается ус районного инспектора каминов, а ведь раньше такое случалось в редчайших случаях: когда тот к трем тузам прикупал четвертого. Тогда этот дергающийся ус непременно выдавал его.

Все случилось именно так, как он себе и представлял. Известие о его невероятных познаниях пронеслось по округе с быстротой лесного пожара. Поначалу, правда, районный инспектор каминов пытался спасти свой авторитет и, наморщив лоб, с самым серьезным видом нес какую-то околесицу о колдовстве.

Но однажды ночью, когда погасли все огни в деревне, он самолично явился к обладателю тома в кожаном переплете и попросил объяснить, откуда тот черпает свою премудрость.

С тех пор обладатель толкового словаря стал хозяином положения. Слава его росла, и хотя люди из соседней деревни, говоря о нем, стучали пальцем по виску, это никак не могло умалить ее. И, как водится, если в деревне есть хоть один умный человек, вскоре все в деревне стали считать себя по меньшей мере такими же учеными.

Над этим смеялись в окрестных деревнях, считая уроженцев нашей дураками набитыми.

Шли годы. Мудрый человек состарился, как состарился и его толковый словарь. Им пользовались столько раз, что он развалился, и когда старик подарил его сыну, в нем недоставало нескольких страниц, которые тайком вырывали гости, приходившие потолковать о том о сем и полистать книгу.

Сына старика пропажа не беспокоила: чего нет в книге, говаривал он, того вообще нет, это, как-никак, сказал мне перед смертью отец: все, что есть на свете, в этой книге есть.

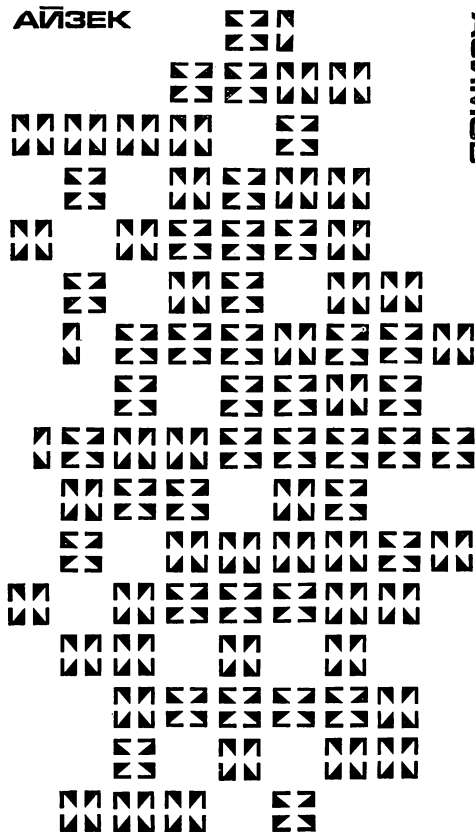
Когда сын старика подарил книгу своему сыну, от нее осталась одна обложка и полстранички текста. Тем

не менее деревенские жители приходили в их дом, чтобы разузнать, что такое «демократия» или «Гибралтар».

Тогда внук брал кожаную обложку книги с оставшимся обрывком странички, делал умное лицо и говорил: «Ну, ты же сам видишь: никакого Гибралтара нет, и демократии тоже нет. Видишь, что тут написано — «Цивилизация».

АЙЗЕК

АЗИМОВ



Айзек Азимов
Isaak Asimov
Родился в 1920 г.

Известный американский ученый,
писатель-фантаст и популяризатор научных знаний.
В девятнадцать лет
окончил Колумбийский университет в Вашингтоне,
в двадцать семь получил степень доктора.
Был профессором биохимии в Бостонском университете,
печататься начал в журналах в сороковые годы,
с тех пор написал сотни научных трудов,
научно-популярных и научно-фантастических произведений.
Имя Азимова знают любители фантастики во всем мире,
хорошо известно оно и советскому читателю:
у нас в стране опубликованы
«Я, робот», «Путь марсиан»,
«Космические течения», «Конец вечности»
и многие другие произведения Айзека Азимова.

КАК ОНИ ВЕСЕЛО ЖИЛИ

Вечером Марджи записала это событие в свой дневник. На странице, где значилось «17 мая 2155 года», она вывела большими буквами:

«Сегодня Томми нашел настоящую книжку!»

Книжка эта была очень старая. О таких книгах Марджи когда-то рассказывал дедушка. Он вспоминал, что ему, когда он был еще совсем маленьким мальчиком, его собственный дедушка говорил про незапамятные времена, когда разные истории записывали на бумагу.

Марджи и Томми листали мятую желтую книгу. Это было очень весело. Буквы в ней стояли смирно, никуда не убегали, как, скажем, те, что скользили обычно по экранам телевизоров, а если перевернуть какую-нибудь страничку назад, то оказывалось, что напечатанные слова не исчезли оттуда, и можно их перечитывать хоть сто раз.

— Глупо придумано,— сказал Томми.— Куда они девали такую книгу, когда прочтут, хотел бы я знать. Выбрасывали, наверно, и все. У нас на телеэкране можно прочесть миллион таких книжек и даже больше, чем миллион, и телевизоры-то уж никто не выбрасывает.

— Это точно,— сказала Марджи. Ей было одиннадцать лет и она еще не успела прочесть так много телекнижек, как Томми за свои тринадцать.

— А где ты ее откопал? — спросила она.

— Дома.— Томми, не отрываясь от книжки, указал пальцем через плечо.— На чердаке валялась.

— А о чем она?

— О школе.

— О шко-о-ле? — насмешливо протянула Марджи.— Нашли о чем писать! Я ее ненавижу.

Марджи всегда недолюбливала школу, но в последнее время сильнее, чем обычно. Ее механический учитель совсем взбесился, заставлял ее каждый день решать кучу тестов по географии, ставил Марджи плохие оценки, и чем дальше, тем хуже, и, наконец, дошло до того, что мама, всплеснув руками, вызвала районного инспектора.

Это был кругленький краснолицый человечек. Он приволок с собой целый ящик инструментов. Он ласково улыбнулся Марджи, подарил ей яблоко, а затем развинтил механического учителя. Марджи подумала, как будет здорово, если он потом не сумеет собрать его об-

ратно. Но инспектор прекрасно все сумел и через час машина была в полном порядке со всеми своими циферблатами, черная, уродливая, с большим телеэкраном. Сбоку имелась щель для ответов на вопросы и домашних заданий — к этой части учителя Марджи питала особенную ненависть. Домашние задания Марджи приходилось писать специальным шифром, который ее заставили выучить еще в шесть лет, и механический учитель мгновенно выводил ей оценку.

Когда инспектор кончил возиться, он опять улыбнулся Марджи и погладил ее по головке, а маме сказал:

— Девочка ни в чем не виновата, миссис Джонс. Это все географический сектор. Он слишком ускорял программу. Я его перевел на средний десятилетний уровень. Впрочем, общее развитие вашей дочери вполне удовлетворительно, — и он погладил Марджи по головке еще раз.

Марджи была разочарована. Она-то надеялась, что инспектор унесет учителя с собой. Учителя Томми однажды уносили ремонтировать и чинили целый месяц, потому что исторический сектор совсем было вышел из строя.

И поэтому она сейчас спросила Томми:

— Ну, что они могли там хорошего написать о школе?

Томми посмотрел на нее с некоторым презрением.

— Дурочка, здесь ведь написано о совсем другой школе. О старой школе, которая была много-много лет назад. *Столетия* назад, — добавил он, старательно выговаривая редкое слово.

Марджи обиделась.

— Ну, не знаю я, что в этой школе было особенно-го. — Она заглянула в книжку через его плечо, прочла несколько строк и сказала:

— Ну вот, у них тоже были учителя.

— Ясное дело, были. Но совсем не такие, как у нас. У них учителями были люди.

— Люди? Как могут люди быть учителями?

— Ну, такой человек рассказывал детям разные вещи, потом задавал им задания на дом и ставил оценки.

— Человек не может знать столько всего.

— Как это не может! Мой папа знает столько же, сколько мой учитель.

— Не может твой папа знать столько же, сколько учитель.

— А вот и может! Мой папа знает даже больше, спорим?

Марджи решила не продолжать эту дискуссию.

— И все равно, — сказала она, — не хотела бы я, чтоб

у меня в доме сидел какой-то дядька и заставлял меня учиться.

Томми покатился со смеху.

— Ты ничего не понимаешь, Марджи. Учителя вовсе не жили у ребят дома. У них было специальное здание и все дети ходили туда учиться.

— Как, и все учили одно и то же?

— Ну ясно, все дети одного возраста учили одно и то же.

— А вот моя мама говорит, что учитель должен быть запрограммирован в зависимости от индивидуальности каждого ребенка и что нужен особый подход.

— Ну, все равно, у них, значит, было по-другому. Если тебе не нравится, можешь не читать.

— Я не говорила, что не нравится,— поспешно ответила Марджи. Ей хотелось узнать как следует про эти странные школы.

Они еще не дочитали и до середины, когда мама Марджи позвала:

— Марджи! Заниматься!

Марджи умоляюще взглянула на нее.

— Мамочка, еще немножко!

— Нет,— сказала миссис Джонс.— И Томми, наверное, тоже пора.

Марджи спросила Томми:

— Можно мне после школы почитать с тобой еще немножко?

— Посмотрим,— безразлично ответил тот и удалился, насвистывая, зажав старую пыльную книгу под мышкой.

Марджи побрела в школьную комнату. Она находилась прямо рядом с ее спальней. Механический учитель был уже включен. Он включался в одно и то же время каждый день, кроме субботы и воскресенья. Мама часто повторяла, что маленькие девочки лучше усваивают материал, если занимаются регулярно.

Экран учителя зажегся и появилась надпись:

«Тема сегодняшнего занятия по арифметике — сложение простых дробей. Приступим к проверке домашнего задания».

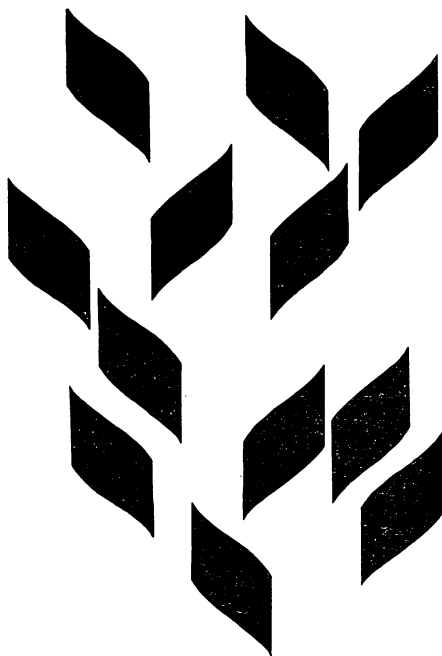
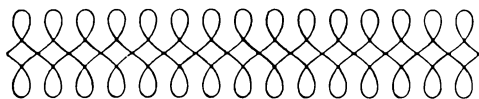
Марджи со вздохом сунула в щель машины исписанные листочки. Она размышляла о старых школах, которые были, когда дедушка ее дедушки был маленьким мальчиком. Туда собирались ребята со всей округи, они вбегали с криками и смехом на школьный двор, заполняли классные комнаты, а после уроков все вместе мча-

лись домой. Они все учили одно и то же, и могли помогать друг другу, и советовались, если что-нибудь было непонятно...

У них учителями были живые люди...

На экране механического учителя замелькали строчки: «При сложении дробей $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$...»

Марджи думала о том, как повезло тем ребятам, что жили в старые времена. Она думала, как весело они жили...



АНДРЕ МОРЧА

Андре Моруа
Andre Maurois
псевдоним Эмиля Эрзога
1885—1967

Французский писатель,
автор многочисленных романов, новелл, литературных эссе,
исторических очерков и воспоминаний.

Известен своими «романизированными биографиями»,
большая часть которых

переведена на русский язык

(«Ариэль, или Жизнь Шелли»,

«Байрон», «Тургенев», «Три Дюма»,

«Жизнь сэра Александра Флеминга»,

«Прометей, или Жизнь Бальзака» и др.).

Публикуемый отрывок «Книги»

входит в очерк «Библиотека»,

написанный в 1961 г. по заказу ЮНЕСКО;

«О романах» —

одно из знаменитых «Писем к незнакомке».

КНИГИ

Итог знаний и воспоминаний, накопленных поколениями, — вот что такое наша цивилизация. Стать ее гражданином можно лишь при одном условии — познакомившись с мыслями поколений, живших до нас. И есть только одно средство стать культурным человеком — чтение.

Ничто не может его заменить. Лекции, картины не могут соперничать с чтением. Изображение ценно, поскольку оно иллюстрирует текст; фильм прокручивается и гаснет, устная речь, отзвучав, умолкает — возвратиться к ним трудно, почти невозможно. Книга же остается нашим товарищем на всю жизнь. Монтень говорил, что ему необходимы три вещи: любовь, дружба и чтение книг. Но между ними столько общего! К книге можно питать страстную любовь; книги — преданные друзья. И я бы даже сказал, что книги кажутся мне порой умнее, чем их создатели. Писатель вкладывает в свои творения лучшее, что есть в нем. Живое слово писателя, самое блистательное, в конце концов забывается. Дружить с книгой, вопрошать ее, доискиваться до ее тайны можно вечно. И притом эту дружбу без всякой ревности разделяют с вами миллионы читателей во всех странах. Бальзак, Диккенс, Толстой, Сервантес, Гете, Данте, Мелвилл непостижимыми узами соединяют людей, которых, кажется, ничто не могло бы сблизить. С людьми, которых я никогда не видел, — с японцами, русским, американцем, у меня оказываются общие друзья, и друзья эти — Наташа из «Войны и мира», Фабрицио из «Пармской обители», Микобер из «Давида Копперфилда».

Книга — это средство перешагнуть любые границы. Ни у кого не хватит личного опыта, чтобы по-настоящему понять других людей, да и себя

самого. Мы все ощущаем свое одиночество перед лицом огромного и недоступного мира. Мы страдаем от этого одиночества. Нас удручают несправедливость судьбы и тяготы жизни. Книги открывают нам, что другие люди, более умные и значительные, терпели такие же беды и жаждали того же, чего жаждем мы. Книги — это двери, распахнутые в чужие души, ворота, ведущие к другим народам; благодаря книгам мы вырываемся из замкнутого мира нашей собственной личности и ускользаем из-под гнета бесплодных раздумий о самих себе. Вечер, проведенный за чтением великих произведений, для души значит столько же, сколько для тела — отдых в горах: человек спускается с этих вершин обновленным, его легкие, его мозг словно отмыты от копоти; и он храбро шагает навстречу новым испытаниям, которые ждут его на равнинах обыденной жизни.

Книги служат для нас единственным средством проникнуть в былые эпохи и лучшим способом понять жизнь социальных слоев, доступ к которым нам закрыт. Пьесы Гарсиа Лорки скажут мне об Испании больше, чем десять туристических поездок. То, что открыли в душе своего народа Толстой и Чехов, остается непререкаемой истиной. Мемуары Сеп-Симона воскресили для меня Францию его времени, а Готорн и Марк Твен заставили вечно жить ту Америку, которой давно уже нет. Удовольствие от чтения только удваивается от того, что видишь, как похожи эти отдаленные во времени и пространстве миры на мир, в котором живем мы. Все люди близки друг другу. Страсти, волновавшие царей у Гомера, в сущности мало чем отличаются от чувств и притязаний военачальников в какой-нибудь современной нам коалиции. Когда я рассказывал американским студентам о Марселе Прусте, эти сыновья и дочери канзасских фермеров узнавали в героях французского писателя самих себя. Ибо, как сказал кто-то, в конце

концов есть только один народ — человечество. Даже великий человек отличается от нас с вами лишь своей огромностью, но не сутью; оттого-то биографии знаменитых людей так интересуют всех.

Итак, мы ищем в книгах способ выйти за пределы собственной жизни и понять жизнь других. Но это вовсе не единственная причина, почему чтение приносит столько радости. В реальной жизни мы слишком непосредственно вовлечены в события, чтобы как следует в них разобраться, и слишком поглощены своими чувствами, чтобы находить в них удовольствие. Жизнь многих из нас — роман почище романов Диккенса или Бальзака. Но от этого нам ничуть не легче. Совсем наоборот. Призвание писателя — нарисовать нам правдивую картину жизни, однако эта картина должна быть несколько отодвинута, так, чтобы мы могли наслаждаться зрелищем без страха и ответственности за происходящее. Читатель романов и биографий переживает драматические события, но сохраняет безмятежность духа. Как сказал Сантаяна, искусство дарует человеку то, чего он никогда не найдет в действии: соединение жизни и покоя. Книги по истории чрезвычайно полезны для ума: они учат сдержанности и терпимости. Они наглядно показывают читателю, что распри, некогда раздиравшие мир, давным-давно потеряли смысл. Урок благоразумия и релятивизма! Хорошие книги никогда не оставляют человека таким, каков он был до знакомства с ними. Читая их, он сам становится лучше.

«Всякий умеющий читать, — заметил Олдос Хаксли, — способен возвыситься над самим собой, многократно умножить собственное существование, сделать жизнь захватывающей и полной смысла». Эту полную жизнь, обогащенную опытом многих, нам хочется сделать достоянием всех. Прочие сред-

ства коммуникации, такие, как радио, телевидение, кино или звукозапись, со временем преобразятся, станут еще доступнее, будут еще эффективней приобщать людей к пленительному волшебству искусств. Но ни одно из них не сравнится по глубине и длительности воздействия с книгой; ни одно не в состоянии одарить нас таким многообразием чувств и познаний.

Открывая в 1833 году публичную библиотеку в Итоне, сэр Джон Гершель произнес такие слова: «Приучите человека к чтению, дайте ему возможность удовлетворять эту страсть, и вы его осчастливите. Вы введете его в общество мудрецов и остроумцев, его друзьями станут самые нежные, чистые и мужественные люди, какие были украшением человечества во все времена его истории. Вы сделаете его гражданином всех наций и современником всех эпох». Можно добавить к этому фразу, которая годилась бы для любого общества: «Скажи мне, что ты предлагаешь читать своему народу,— и я скажу тебе, кто ты».

О РОМАНАХ

Вы спрашиваете меня, как делаются романы. Мадам, если бы я знал, я бы их не писал. Поймите, это не шутка: я хочу сказать, что романист, слишком уверенный в своем ремесле, впадает в смертный грех.

Романы можно фабриковать. Есть писатели, которые решают задачу так: один из персонажей воплощает Зло («злодей» в мелодрамах, «негодяй» в экзистенциалистских романах), другой — Добро, Детель, Свободу, Веру или Революцию (потому что природа героев меняется с эпохой), наконец, Добро, каким бы оно ни было, выигрывает игру, а писатель ее проигрывает.

У другого писателя есть свой, домашний рецепт: «Берется молодая девушка — по возможности красивая и трогательная. После многих злоключений предоставьте ей возможность найти своего рыцаря. Дайте ей в соперницы фатальную женщину. Долгая борьба. Разные перипетии. Добавьте чувственности — количество может варьироваться в зависимости от вкуса публики. Продолжайте писать такие романы всю жизнь. На двадцатой книжке ваше состояние сделано».

Третий романист выбирает исторический период, предпочтительно трагический и разнузданный. Подходящим местом действия могут быть тюрьмы Великой революции (возможность сочетать при этом любовь и гильотину), войны эпохи Империи (смесь военных и женских побед), царствование Людовика XV или эпоха Регентства (охоты в оленьем парке и интимные ужины), Вторая империя (величие куртизанки). Время выбрано, теперь надо поселить в нем циничную, жестокую, но обольстительную героиню и каждые тридцать страниц укладывать ее в постель с новым мужчиной. Стотысячный тираж гарантирован. Каждые три тома вск следует менять.

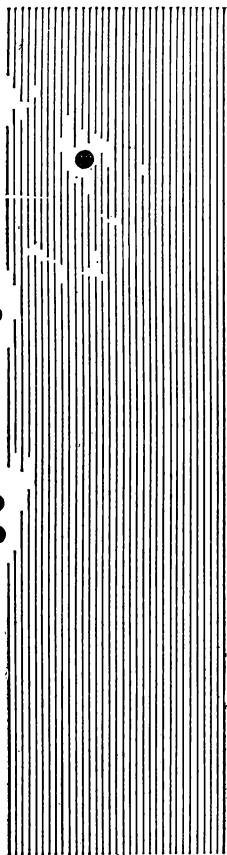
По этим рецептам делаются состояния, но не шедевры. Источники красоты — это источники подземные, скрытые. Подлинный роман рождается в силу внутренней потребности. Стендаль, Бальзак любили сюжеты, позволявшие им возобновлять свою жизнь под новой маской. Фабрицию в «Парм-

ской обители» — это Стендаль в роли молодого и красивого итальянского аристократа. Люсьен Леви — это Стендаль в роли красивого лейтенанта, сына богатейшего банкира. Писатель вознаграждает себя, как может, за некие несправедливости судьбы. Порой разгадать маску нелегко. «Мадам Бовари — это я», — говорил Флобер. Поэтому «Мадам Бовари» — шедевр.

Как романисту узнать, что данный сюжет (для него) — подходящий? А вот как: он должен испытывать при мысли о нем живое волнение. Если тема затрагивает чувствительное место в его душе, будит горестное или уповительное воспоминание — книга может иметь успех. Однако при двух условиях. Надо несколько отступить во времени от описываемых событий или, как говорил Бальзак, нужно время переварить их. «Поэзия — это волнение, о котором вспоминают в спокойствии». Миг, когда вы только что утратили любовь, не годится для писания романа. Рана еще кровоточит, ее надо перевязать, а не растревать. Когда она зарубцуется, вам доставит горькое удовольствие еековырнуть. Боль не будет столь сильной, она заставит вас не вскрикнуть, по запеть — в поэтическом смысле, конечно, это относится и к роману.

Второе условие: связь не должна быть прямой. Если вы вознамерились, прекрасная Незнакомка, написать роман, не рассказывайте свою собственную историю, ничего не меняя. Иначе чувство стыдливости парализует Вас — по крайней мере, я на это надеюсь. Расскажите историю, близкую Вашей, она позволит Вам выразить Ваши чувства, сохраняя иллюзию, что Вас защищает маска. И если, наконец, Вам все это удастся... не посылайте мне рукописи. Я ее потеряю. Прощайте.

Карел
ЧАПЕК



Карел Чапек
Karel Čapek
1890—1938

Чешский писатель, автор романов, пьес,
многочисленных статей и рассказов.

Одна из главных тем
в творчестве Карела Чапека —
влияние последствий научно-технической революции
на судьбы человечества
(пьеса «Р.У.Р.», роман «Кракатит» и др.).
У нас в стране
вышло несколько собраний его сочинений.

Заурядное происшествие: в четыре часа утра на Житной улице автомобиль сбил с ног пьяную старуху и скрылся, развив бешеную скорость. Молодому полицейскому чиновнику д-ру Мейзлику предстояло отыскать это авто. Как известно, молодые полицейские чиновники относятся к делам очень серьезно.

— Гм...— сказал Мейзлик полицейскому номер 141.— Итак, вы увидели в трехстах метрах от вас быстро удалявшийся автомобиль, а на земле — распростертое тело. Что вы прежде всего сделали?

— Прежде всего подбежал к пострадавшей,— начал полицейский,— чтобы оказать ей первую помощь.

— Сначала надо было заметить номер машины,— проворчал Мейзлик,— а потом уже заниматься этой бабкой... Впрочем, и я, вероятно, поступил бы также,— добавил он, почесывая голову карандашом.— Итак, номер машины вы не заметили. Ну, а другие приметы?

— По-моему,— неуверенно сказал полицейский номер 141,— она была темного цвета. Не то синяя, не то темно-красная. Из глушителя валил дым, и ничего не было видно.

— О, господи! — огорчился Мейзлик.— Ну, как же мне теперь найти машину? Бегать от шофера к шоферу и спрашивать: «Это не вы переехали старуху?» Как тут быть, скажите сами, любезнейший?

Полицейский почтительно и равнодушно пожал плечами.

— Осмелюсь доложить, у меня записан один свидетель. Но он тоже ничего не знает. Он ждет рядом в комнате.

— Введите его,— мрачно сказал Мейзлик, тщетно стараясь выудить что-нибудь в купе протоколе.— Фамилия и местожительство? — задал он вошедшему обычный вопрос, не поднимая взгляда.

— Кралик Ян — студент механического факультета,— отчетливо произнес свидетель.

— Вы были очевидцем того, как сегодня в четыре часа утра неизвестная машина сбила Божену Махачкову?

— Да, я должен заявить, что виноват шофер. Судите сами, улица была совершенно пуста, и если бы он сбавил ход на перекрестке...

— Как далеко вы были от места происшествия? — прервал его Мейзлик.

— В десяти шагах. Я провожал своего приятеля из... из кафе, и когда мы проходили по Житной улице...

— А кто такой ваш приятель? — снова прервал Мейзлик. — Он тут у меня не значится.

— Поэт Ярослав Нерад, — не без гордости ответил свидетель. — Но от него вы ничего не добьетесь.

— Это почему же? — нахмурился Мейзлик, не желая уступить даже соломинку.

— Потому что он... у него... такая поэтическая натура. Когда произошел несчастный случай, он расплакался, как ребенок, и побежал домой... Итак, мы шли по Житной улице; вдруг откуда-то сзади выскочила машина, мчавшаяся на предельной скорости...

— Номер машины?

— Извините, не заметил. Я обратил внимание лишь на бешеную скорость и говорю себе — вот...

— Какого типа была машина? — прервал его Мейзлик.

— Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, — деловито ответил студент-механик. — Но в марках я, понятно, не разбираюсь.

— А какого цвета кузов? Кто сидел в машине? Открытая или лимузин?

— Не знаю, — смущенно ответил свидетель. — Цвет, кажется, черный. Но в общем я не заметил, потому что, когда произошло несчастье, я как раз обернулся к приятелю: «Смотри, говорю, каковы мерзавцы: сбили человека и даже не остановились».

— Гм... — недовольно буркнул Мейзлик. — Это, конечно, естественная реакция, но я бы предпочел, чтобы вы заметили номер машины. Просто удивительно, до чего не наблюдательны люди. Вам ясно, что виноват шофер, вы правильно заключаете, что люди мерзавцы, а на номер машины вы — ноль внимания. Рассуждать умеет каждый, а вот по-деловому наблюдать окружающее... Благодарю вас, господин Кралик, я вас больше не задерживаю.

Через час полицейский номер 141 позвонил у дверей поэта Ярослава Нерада.

— Дома, — ответила хозяйка квартиры. — Спит.

Разбуженный поэт испуганно вытаращил заспанные глаза на полицейского. «Что же я такого натворил?» — мелькнуло у него в голове.

Полицейскому, наконец, удалось объяснить Нераду, зачем его вызывают в полицию.

— Обязательно надо идти? — недоверчиво осведомился поэт. — Ведь я все равно уже ничего не помню. Ночью я был пемного...

— Под мухой,— понимающе сказал полицейский.— Я знаю многих поэтов. Прошу вас одеться. Я подожду.

По дороге они разговорились о кабаках, о жизни вообще, о небесных знаменьях и многом другом; только политике были чужды оба. Так, в дружеской и поучительной беседе, они дошли до полиции.

— Вы поэт Ярослав Нерад? — спросил Мейзлик.— Вы были очевидцем того, как пензвестный автомобиль сбил Божицу Махачкову?

— Да,— вздохнул поэт.

— Можете вы сказать, какая это была машина? Открытая, закрытая, цвет, количество пассажиров, номер? Поэт усиленно размышлял.

— Не знаю,— сказал он.— Я на это не обратил внимания.

— Припомните какую-нибудь мелочь, подробность,— настаивал Мейзлик.

— Да что вы! — искренне удивился Нерад.— Я никогда не замечаю мелочей.

— Что же вы вообще заметили, скажите пожалуйста? — проницески осведомился Мейзлик.

— Так, общее настроение,— неопределенно ответил поэт.— Эту, знаете ли, безлюдную улицу... длинную... предрассветную... И женская фигура на земле... Постойте! — вдруг вскочил поэт.— Ведь я написал об этом стихе, когда пришел домой.

Он начал рыться в карманах, извлекая оттуда счета, конверты, измятые клочки бумаги.

— Это не то, и это не то... Ага, вот оно, кажется.— И он погрузился в чтение строчек, написанных на оборотной стороне конверта.

— Покажите мне,— снисходительно предложил Мейзлик.

— Право, это не из лучших моих стихов,— скромничал поэт.— Но если хотите, я прочту.

Возведя глаза к небу, он начал декламировать нараспев:

Дома в строю темнели сквозь ажур,

Рассвет уже играл на мандолине.

Краснела дева.

В дальний Сингапур

Вы уносились в гоночной машине.

Повержен в пыль надломленный тюльпан.

Умолкла страсть. Безмолвие... Забвенье.

О тея лебедя!

О груди!

О барабан!

И эти палочки — трагедии знаменья!

— Вот и все,— сказал поэт.

— Извините, что все это значит? — спросил Мейзлик.— О чем тут, собственно, речь?

— Как о чем? О происшествии с машиной,— удивился поэт.— Разве вам непонятно?

— Не совсем,— критически изрек Мейзлик.— Как-то из всего этого я не могу установить, что «икюла пятнадцатого дня, в четыре часа утра, на Житной улице автомобиль номер такой-то сбил с ног шестидесятилетнюю нищенку Божену Махачкову, бывшую в нетрезвом виде. Пострадавшая отправлена в городскую больницу и находится в тяжелом состоянии». Обо всех этих фактах в ваших стихах, насколько я мог заметить, нет ни слова. Да-с.

— Все это внешние факты, сырая действительность,— сказал поэт, теребя себя за нос.— А поэзия — это внутренняя реальность. Поэзия — это свободные сюрреалистические образы, рожденные в подсознании поэта, понимаете? Это те зрительные и слуховые ассоциации, которыми должен проникнуться читатель. И тогда он поймет,— укоризненно закончил Нерад.

— Скажите пожалуйста! — воскликнул Мейзлик.— Ну, ладно, дайте мне этот ваш опус. Спасибо. Итак, что же тут говорится? Гм...

«Дома в строю темпели сквозь ажур...» Почему в строю? Объясните-ка это.

— Житная улица,— безмятежно сказал поэт.— Два ряда домов. Понимаете?

— А почему это не обозначает Национальный проспект? — скептически осведомился Мейзлик.

— Потому, что Национальный проспект не такой прямой,— последовал уверенный ответ.

— Так, дальше: «Рассвет уже играл на мандолине...» Допустим. «Краснела дева...» Извиняюсь, откуда же здесь дева?

— Заря,— лаконически пояснил поэт.

— Ах, прошу прощения. «В дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине»?

— Так, видимо, я воспринял тот автомобиль,— объяснил поэт.

— Он был гоночный?

— Не знаю. Это лишь значит, что он бешено мчался. Словно спешил на край света.

— Ага, так. В Сингапур, например? Но почему именно в Сингапур, боже мой?

Поэт пожал плечами.

— Не знаю, может быть потому, что там живут малайцы.

— А какое отношение имеют к этому малайцы? А? Поэт замаялся.

— Вероятно, машина была коричневого цвета,— задумчиво произнес он.— Что-то коричневое там непременно было. Иначе откуда взялся бы Сингапур?

— Так,— сказал Мейзлик.— Другие свидетели говорили, что авто было синее, темно-красное и черное. Кому же верить?

— Мне,— сказал поэт.— Мой цвет приятнее для глаза.

— «Повержен в пыль надломленный тюльпан»,— читал далее Мейзлик.— «Надломленный тюльпан»— это, стало быть, пьяная побирушка?

— Не мог же я так о ней написать!— с досадой сказал поэт.— Это была женщина, вот и все. Понятно?

— Ага! А это что: «О шея лебедя, о грудь, о барабан!» Свободные ассоциации?

— Покажите,— сказал, наклоняясь, поэт.— Гм... «О шея лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки...» Что бы все это значило?

— Вот и я то же самое спрашиваю,— не без язвительности заметил полицейский чиновник.

— Пойдите,— размышлял Нерад.— Что-нибудь подсказало мне эти образы... Скажите, вам не кажется, что двойка похожа на лебединую шею? Взгляните.

И он написал карандашом 2.

Ага! — уже не без интереса воскликнул Мейзлик.— Ну, а это: «грудь»?

— Да ведь это цифра три, она состоит из двух окружностей, не так ли?

— Остаются барабан и палочки...— размышлял Нерад.— Барабан и палочки... Наверно, это пятерка, а? Смотрите,— он написал цифру 5.— Нижний кружок словно барабан, а над ним палочки.

— Так,— сказал Мейзлик, выписывая на листе цифру 235.— Вы уверены, что номер авто был двести тридцать пять?

— Номер? Я не заметил никакого номера,— решительно возразил Нерад.— Но что-то такое там было, иначе бы я так не написал. По-моему, это самое удачное место? Как вы думаете?

Через два дня Мейзлик зашел к Нераду. На этот раз поэт не спал. У него сидела какая-то девица, и он тщетно пытался найти стул, чтобы усадить полицейского чиновника.

— Я на минутку,— сказал Мейзлик.— Зашел только

сказать вам, что это действительно было авто номер двести тридцать пять.

— Какое авто? — изумился поэт,

— «О шея лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки!» — одним духом выпалил Мейзлик. — И насчет Сингапура правильно. Авто было коричневое.

— Ага! — вспомнил поэт. — Вот видите, что значит внутренняя реальность. Хотите, я прочту вам два-три моих стихотворения? Теперь-то вы их поймете.

— В другой раз! — поспешил ответить полицейский чиновник. — Когда у меня опять будет такой случай, ладно?

КРИСТОФЕР МОРАИ



Кристофер Морли
Christopher Morley
1890—1957

Известный американский журналист,
поэт, прозаик,
внесший значительный вклад
в литературную и театральную жизнь страны.
Рассказ был напечатан у нас
в «Литературной газете».

Писатель Роберт Урвик был еще не так испорчен успехом, чтобы стать невосприимчивым к лести. Поэтому он с немалым удовольствием прочел полученное им нижеследующее письмо:

«Мистер Роберт Урвик дорогой сэр я прочитал Ваш рассказ в «Субботней вечерней дубине» это не значит что мне по карману покупать такие журналы, но я подбираю их на скамейках в парках. Мистер Урвик я бедный человек но меня воспитали почитать искусство и скажу Вам что этот Ваш рассказ под загл. «Медные кастеты» был первоклассный рассказ и я имею честь Вас поздравить. Мистер Урвик это напоминает мне другой вопрос по которому я давно уже собирался Вам написать но боялся потривожить. Я тоже в свое время пописывал если это вызовет сочувствие художнику который попал в беду. Я бедный человек без работы не по своей вине у меня больная жена много недель я все ночи не отхожу от нее и потому не мог оставаться на работе которая днем требовала от меня умственной деятельности.

Мистер Урвик у меня больная жена и семеро детей их нужно кормить и скоро нужно платить за квартиру и хозяин грозит выбросить нас на улицу. Мы с женой ждем что господь благословит нас в скором времени восьмым ребенком. Из моей любви и преданности изящной словесности мы назвали своих детей именами писателей. Редьярд Киплинг, У. Дж. Брайан, Марк Твен, Дебс, Ирвин Кобб, Уолт Мейсон и Элла Уиллер Уилкоккс. Я подумал мистер Урвик назвать будущего в Вашу честь поскольку вы так обогатили литературу. Роберт если будет мальчик и Роберта если девочка а второе имя будет Урвик значит Вы будете вроде нашего

крестного отца. Вот я подумал не пожалеете ли Вы сделать маленький подарок Вашему маленькому крестнику который будет носить Ваше имя. Скажем 20 долларов но только если можно не чеком так как из-за моих временных затруднений у меня нет счета в банке и наличные деньги мне будет легче превратить в предметы первой необходимости.

Однажды я уже написал это письмо но я его разорвал не хотел Вам мешать но сейчас моя нужда заставляет меня написать Вам откровенно. В надежде что Вы еще украсите нашу литературу многими прекрасными сочинениями которые похожи на «Медные каскеты» остаюсь

преданный Вам

мистер Генри Филиппс

454 Восточная 34-я улица».

Прочитав дважды эту замечательную дань его таланту, Урвик от души посмеялся и заглянул в свой бумажник. Найдя там новельку десятидолларовую купюру, он положил ее в конверт и отправил своему поклоннику, сопроводив дружеской запиской с пожеланием счастья будущему человеку, который будет наречен его именем.

Недели через две Урвик нашел у себя на столе за завтраком засаленную открытку со следующим текстом:

«Дорогой добрый друг ребенок родился и к общей радости это мальчик и он крещен Роберт Урвик Филиппс. Очень жаль это слабый ребенок и доктор назначил ему портвейн иначе говорит он не выживет. Мы с женой были счастливы когда получили Ваш щедрый дар и мы надеемся когда мальчик вырастет рассказать ему кто его благодетель. А мистер Киплинг своему тезке прислал только пятерку. Не могли бы Вы прислать нам пять долларов чтобы купить портвейн.

С благодарностью к Вам

Генри Филиппс».

Мистер Урвик несколько удивился, что новорожденному крошке прописывают португай, и вот однажды утром, поехав в центр по своим делам, он захотел взглянуть на жилье мистера Филиппса и узнать, как поживает его крестник. Если мальчишка в самом деле болен, может, он пожертвует немного денег, чтобы обеспечить ему нужное лечение.

Он нашел по этому адресу ветхий дом, окруженный питейными заведениями. Оборванная девчушка (уж не это ли Элла Уиллер Уилкокс, подумал Урвик) показала ему на дверь мистера Филиппса. Урвик постучал, но никто не ответил, тогда он толкнул дверь и вошел.

Жилье Филиппса состояло из одной комнаты с койкой, керосиновой печкой и столом, заваленным бумагой и почтовыми марками. Никаких признаков супруги Филиппса, крестного сыночка или остальной семерки детей там не оказалось. Урвик подошел к столу.

По-видимому, литературный талант Филиппса был весьма ограничен, судя по нескольким начатым письмам, оставленным на разных стадиях творчества. Впрочем, смысл их полностью соответствовал смыслу того первого письма, которое получил Урвик. Адресатами Филиппса были Бут Таркингтон, Дон Маркиз, Элла Глазго, Эдна Фербер, Агнес Реплиер, Холуорти Холл и Фэппи Херст. В каждом из писем предлагалось назвать будущего ребенка в честь сих обитателей Парнаса. Рядом на столе лежала куча старых журналов, из которых предприимчивый мистер Филиппс черпал, вероятно, имена любимых авторов.

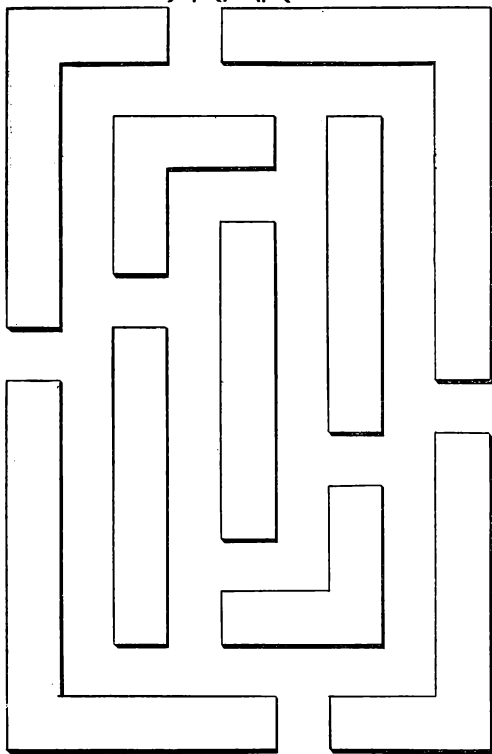
Урвик мрачно усмехнулся и вышел на цыпочках из комнаты. На лестнице ему попала толстая уборщица. Он спросил ее, жепат ли мистер Филиппс.

— Виски — вот его жепат и дети, — отвечала женщина.

Спустя месяц Урвик описал Филиппа в рассказе, который продал за 500 долларов «Субботней вечерней дубине». Когда рассказ был напечатан, он послал экземпляр журнала папаше Роберта Урвика Филиппа, сделав следующую приписку:

«Дорогой мистер Филиппс! Я Вам должен около 490 долларов. Загляните как-нибудь ко мне, сходим пообедаем за мой счет».

ЖАК



БЭР

Жак Бэр
Jacques Bert

**Современный бельгийский прозаик,
пишущий на французском языке,
автор многих рассказов и повестей,
в том числе сатирических и антифашистских.**

**Публикуемый рассказ дал название
сборнику рассказов Бэра,
вышедшему в Брюсселе в 1945 г.**

**Рассказ впервые знакомит советского читателя
с творчеством Жака Бэра.**

НИКОГДА БЫ НЕ ПОДУМАЛ

Это произошло вечером. Если хорошенько разобраться, то причиной всему была гроза...

Она ворчала и громыкала где-то далеко. Когда я выглядывал наружу, ночь пугающе полыхала фейерверком. Говорят, это опасно для зрения, особенно вот такая слепящая молния, прямо осветительная ракета. Но я все же смотрел, зачарованный.

Гроза вскипала, захлебывалась, надвигалась, и тут предательски погасла лампа...

«Черт» — сказал я, потому что в эту минуту писал. Так, ничего особенного, очерк, и не слишком удачный.

Лампа посомневалась, потом снова зажглась, и я продолжал строчить, размышляя о неприятностях домашних хозяек в больших городах. Это, в общих чертах, и было темой моего очерка — речь шла о кризисе, о политических ошибках и других столь же безрадостных предметах.

Я, конечно, писал с подъемом, но, говоря откровенно, нанизывание этих грустных фактов казалось мне несколько однообразным, и перо мое начало спотыкаться. Оно и слова-то выписывало совсем неубедительно.

Я пытался уговорить себя, что глубоко взволнован судьбой мусорных ящиков, не убираемых до полудня, а на самом деле мне было в высшей степени наплевать... но раз уж я взялся... а потом — бац — и потух свет. Я сделал пометку в слове «гнилой» и кляксу на слове «продано». Да, я здорово ругался. Можно было и поскромнее. Но тогда я об этом не думал, я уставился в темноту, на маятник невидимых часов. Их скрежет напомнил мне хруст сухой корки, которую грызет крыса, и я вообразил просто так, от нечего делать, сказочную войну мышей и окопавшихся крыс. Что-то вроде цветной мультипликации... очень даже недурно.

Когда я вновь обрел зрение, то счел, что мои нападки грешат дурным тоном и начал писать об игрушечных мышках. У меня было мало бумаги и не хотелось переводить ее впустую... тем хуже для рассуждений о мусорных ящиках, они будут заменены менее сухой материей.

И я принялся за работу.

Электричество гасло еще раз десять... в темноте я частенько забывал о написанном и думал о другом, а при свете развивал уже новую тему. Два часа длился этот калейдоскоп... свет, ночь, мысли, образы...

Я ничем не пренебрегал. С бумагой ведь туго. В общем, я не ошибся, утверждая, что мы живем в дурное время. Описывая тропические острова, я снова вернулся к этой мысли. Условия игры были совсем простыми — достаточно о чем-то подумать и обмакнуть перо в чернила...

От мышей я перешел к опасностям, которым подвергается плотник, починяющий карнизы, от рабочих к благотворительным обществам.

Мне кажется, я писал еще о плохом состоянии водостоков, о чистой поэзии и... нет! я говорил о куче других вещей, сейчас и не вспомнить. Потом пробило полночь... я добавил еще слово «часы» после обзора примитивистов и поставил точку.

Под рукой у меня была книга Карко, и я нехотя раскрыл ее. Я устал, читать было трудно. На пятнадцатой странице я увидел: «когда же придешь ты?» Эта фраза не показалась мне ни особенно красивой, ни глубокомысленной, но я поставил ее в заголовок своей писанины. Вернее, внизу страницы, со стрелкой вверх, потому что места у меня уже не оставалось...

Я перечитал и ничего не понял; пастоящий коктейль из соленых ругательств и рассуждений, сдобренных вымыслом, без разбору сплетенных в непонятный узор.

Потом я помчался к издателю...

Он сидел на вертящемся кресле, но не желал поворачиваться. Он был из тех, кто принимает свою работу всерьез и не дает себя отвлекать. С выражением крайней занятости он поднял голову из-за баррикады папок. «Ну-ну! — проскрипел он, — опять вы с вашими бреднями!..»

Но пробежав глазами текст, он беспокойно заерзал.

— Так-так, — он размышлял, затем добавил громко: — Ну и что вы этим хотели сказать?

Чувствуя, что застигнут врасплох, я напыжился и заявил:

— Перед вами многоплановая серпя рельефных сюжетов, которая в целом является воспроизведением рубки леса в Калифорнии...

Это привело его в чувство; он, видно, и до моего объяснения угадал скрытый смысл.

— Очень остроумно... высокая техника письма и безусловное богатство мысли. Мне нравится ваш... — он потряс рукописью, не находя, по-видимому, достаточно лестного определения, — да, ничего не скажешь, хорошо, даже очень хорошо; заостренное виденье, несколько... как бы это сказать... — он снова потряс рукописью, — нечто пикантное, словом, новое... и великолепно вылепленное...

Я скромно потупился: «Мне важно было передать атмосферу...»

— Вот-вот, это и чувствуется... прежде всего атмосфера... вы поняли, что в ней скрыт стержень... словом...

И он решительно кивнул... и меня напечатали. В выпуске «Объединения писателей-модернистов». И это еще не все; он вызвал меня к себе. «Я перечитал ваш опус, он на редкость хорошо сбит... но что значит заглавие? Ведь там не говорится о любви».

«— О!» — я был уверен в себе, отвечать можно было что попало: «Заглавие должно настраивать на иное...» Мой очкастый издатель испустил что-то вроде радостного кудахтанья. Тысяча экземпляров моего произведения вышли на обычной бумаге, потом роскошные пронумерованные экземпляры, и еще триста оттисков на японской бумаге «пикварто».

Всего удивительнее, что я стал почти знаменитостью.

Интеллектуалы читали мой опус в гостинных. Дамы с черепаховыми лорнетами одобряли изящество отдельных штрихов и виртуозность в употреблении глаголов. А смысл у них менялся чуть не ежедневно. Потом многие поэты сумели объяснить соответствие названия глубинному замыслу текста. А так как моего мнения не спрашивали, то все шло гладко. Однажды, правда, в банкетном зале потянуло сквозняком. Банкет давался в честь годовщины моего шедевра.

Меня спросили:

— Как вам удалось создать это произведение?

— О чем говорить, — отвечал я рассеянно... пальчики хорошенькой соседки касались моей руки, — знаете ли, моя консьержка могла бы написать не хуже...

К счастью, Министр Общественных Работ вскричал:

— Мой бог! Какая чрезмерная скромность!

И утренняя газета рассказала об этом эпизоде под заголовком «Наш выдающийся писатель».

Теперь мое имя треплют даже в кафе. Но верхом славы стало для меня мнение одного мазила, который провозгласил, набивая трубку: «Его поэма в прозе — это вещь...»

Поэма... Поэма? никогда бы не подумал.

С того дня я купил приталенный костюм в клетку и начал принимать себя всерьез.



SMALL
ARTIST



Эмиль Аньрио
Emile Henriot
(псевдоним Эмиля Мегро)
Родился в 1889 г.

Французский прозаик, поэт, критик.
Популярны на родине писателя его рассказы,
часто сатирические,
и статьи о творчестве
великих писателей прошлого.

В 1945 г. Эмиль Аньрио
стал членом Французской академии.

На русском языке в 1927 г.
в Ленинграде в переводе Бенедикта Лившица
был напечатан его роман
«Вторая жизнь Мартена Крамуазана».

НЕДОВОЛЬНЫЕ ГЕРОИНИ

Мне приснилось, что я попал в рай. И увидел там блаженные души — они радовались, что покончили счеты с нашей брэнной юдолью и устроились в вечности со всеми удобствами — без забот о хлебе насущном, о квартирной плате, о налогах... Без всех будничных дряг, что отравляют существование живым. Здесь каждый, оставаясь самим собой, но освобожденный от земных невзгод, находит общество по вкусу. Никого не волнует здоровье, карьера и будущность. Молодежь не стремится к быстрым успехам и не строит козни старшим, а те, не боясь потерять насиженные места, не косятся на новичков. Кто не имел привычки размышлять, и тут обходится без мыслей, довольный, что отныне уже до скончания веков ему не придется утруждать свои мозги. Мудрецы же, в восторге от того, что, наконец, разрешили проблемы, так тревожившие их на земле, имеют здесь полную возможность изучать, соответственно своим склонностям, все смехотворные философские теории, которые Человечество разрабатывало с сотворения мира, дабы объяснить тайны Вселенной. Им тут хватает и занятий и развлечений.

В раю я обнаружил только одну ложку дегтя в бочке меда — то был музыкант. Правда, на музыкантов угодить трудно! Этот, например, жаловался, что в небесных концертах очень редко исполняют его творения, что ангельская музыка может осточертеть и в ней совсем нет диссонансов.

И вдруг под сенью райских кущ я заметил группу женщин в костюмах разных эпох. Одна была в греческой тунике, другая в платье стиля Регентства, третья — в амазонке с облегающим корсажем. Еще одна словно сошла с портрета Энгра или Шассеро. Кто в кринолине или с турнюром, кто в фонтанже¹ или с английскими буклями. Дам было так много, что трудно было их хорошенько разглядеть, но когда я подошел ближе, меня поразила одна особенность в их внешности и манере держаться, придававшая им некую романтическую и страдальческую общность. Казалось, в этом царстве безмятежного счастья женщины чем-то сильно раздражены.

¹

Головной убор XVIII века из лент и кружев.

Видя, как они не находят себе покоя, я понял, что они несчастны, и мне захотелось узнать причину.

— Все это героини знаменитых романов, — пояснила сопровождавшая меня душа. — Точнее, женщины, которых писатели и поэты сделали героинями своих произведений. Все они недовольны тем, как их описали прославленные авторы, и не желают узнавать себя в литературных образах. Они жалуются, что их либо обезличили, либо оклеветали. Пришлось поместить этих дам отдельно, ибо стоит им увидеть какого-нибудь писателя, даже неповинного в ущербе, причиненном им другим автором, — начинаются горькие упреки или бурные сцены, нарушающие здешнее благоденствие. Лучше держаться от них подальше — если они проведут, что вы принадлежите к писательской братии, вас могут разорвать в клочья. Пойдемте отсюда!

Нельзя сказать, что я отличаюсь особой смелостью, но разве можно было упустить такой великолепный сюжет для газетной статьи — «Что думает героиня о прославившем ее произведении?» Поэтому я решительно направился к красавице в греческой тунике, прохаживавшейся поодаль от других, и, узнав в ней Прекрасную Елену, да-да — Елену Гомера и Гетел — приветствовал ее словами из третьей песни «Илиады»:

Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы
Брань за такую жену и беды столь долгие терпят:
Истинно — вечным богиням она красотою подобна!

И тут произошло то, о чем предупреждал меня провозгласивший. (А надо сказать, что, несмотря на печаль, омрачавшую чело Елены, она была дивно хороша: небольшого роста, но с безукоразненной фигурой, пухленькая, бело-розовая, с зеленоватыми глазами. Одним словом — невероятно соблазнительная и вполне достойная того, чтобы велась войны ради ее похищения или возвращения!) Едва красавица услышала строфы, сочиненные в ее честь, она содрогнулась от гнева, розы с ее ланит исчезли, очи метнули молнии, и мне почудилось, что передо мною одна из Фурий.

— Кто ты, о дерзкий пришелец, — возопила она, — что, вновь оскорбляя меня, будишь мой праведный гнев? Три с лишним тысячи лет я страдаю от тяжкого гнета нелепой огласки, коей предал слепец окаянный мое увлечение Парисом! Оно никого не касалось и было моею лишь заботой. Сами бессмертные боги тогда мне его ниспослали. Однако же в эту историю впутались многие люди... Я красива была и любима. Я любила Париса.

Мой муж Менелай был ревнив, непригож и брюзжал непрестанно. Я сбежала к Парису. Подумаешь, дело какое! Разве достоин сей случай гекзаметров звонкоголосых? Стоило ль ради него сочинять древнегреческий эпос? Из-за меня разве греки осаду предприняли Трои? Ради меня ль простояли под стенами долгие годы? Нет, причины войны совершенно иные. Известно, что люди воюют за сферы влияния, за власть на морях, за торговую прибыль, во имя свободы — вот в этакое роде...

Гомер же связал мое имя с колониальным походом, для коего поводом лишь я служила, и тем обесчестил. Что мне толку с того, что мою красоту он прославил? Знаю сама, что была хороша — в похвалах не нуждаюсь! Но старикан наделил меня черствостью и равнодушьем. А за Гомером отправились той же стезей и другие: скульпторы и живописцы, писатели и драматурги. Все были случаю рады меня показать обнаженной, легкого нрава и многим доступной особой. Я была жепщиной — стала теперь отрицательным типом!.. А Гето зачем-то меня превратил в любовницу мага и написал несусветную чушь про Эвфориона. Эвфориона же я родила не от Фауста, а от Ахиллеса, да и тот овладел мной насильно во время взятия Трои... А господа Галевы и Мельяк! — В их оперетке, что называли они в мою честь «Прекрасной Еленой», представьте! — мне приходится петь непристойные вирши и дрыгать погами! Мне, к кому благосклонна богиня была Афродита! Неужто та «Елена Прекрасная» — я? Невозможно! Это просто распутная баба! — Так поэты меня оболгали... А какой я была в своей жизни, осталось доселе неясным. Ведь я была просто Влюбленной, женщиной прежде всего. Мно хватало сердечных и прочих волнений, и пезачем было всю мою жизнь выставлять напоказ, на потеху потомкам!

Елена так вопила и неистовствовала в своем пегодовании, что привлекла внимание подруг, и меня окружила грозная толпа женщин. На их прелестных лицах отражались подозрительность и злоба — ведь, слушая Елену, я достал блокнот и карандаш. По этому признаку все сразу же опознали того, кем я был, — опасного писаку.

Будь я во фраке, подобный рой красавиц в исторических костюмах, пожалуй, смахивал бы на бал-маскарад и вся сцена показалась бы комической. Но направленные на меня свирепые взоры грозили мне немедленным линчеванием и, видя, что надо на что-то репаться, я с величайшей скромностью молвил:

— Милые дамы, не бойтесь меня! На моей совести нет ни одного нашумевшего романа, и я не причину вам не-

приятностей. Я только проведу опрос. В литературных произведениях я всегда предпочитал действительность вымыслу и, раз уж мне представился случай, хотел бы узнать ваше мнение о написанных с вас портретах. Помоему, вы ими недовольны. Но ведь они все же не так искажены или обидны для вас, если я без особого труда могу кое-кого опознать — по крайней мере, по внешности.

Мои миролюбивые слова, видимо, задобрили разъяренных красавиц. Воспользовавшись этим, я сразу же наметил одну смазливенькую курносую мордашку. Румян и мушек на ней было куда больше, нежели приличествовало бы порядочной женщине. Ее шею обвивала черная ленточка, концы косынки были завязаны на груди крест-накрест. Несмотря на напускную профессиональную развязность, девушка выглядела какой-то жалкой и к тому же часто кашляла.

— Ну-с, мадемуазель, начнем с вас, если не возражаете. Вы, наверно, читали книгу, названную вашим именем, в которой описаны ваши любовные похождения? Говорят, что автор, аббат Прево, был в молодости в вас влюблен и в этой истории поведал, попутно и о своей жизни...

— Вот уж чего не знаю — того не знаю, — ответила Манон Леско. — У меня было столько мужиков — и аббатов тоже — что, может, и он затесался среди них. Разве упомянешь имена всех, с кем я спала? Этак пришлось бы держать в башке целые святцы!.. Да какая разница — он, другой? Ну, этот обозвал меня подлой изменницей, подумаешь! При моем-то ремесле!.. Читала я его книжонку, как же... может, там кое-что и верно... Вот только братца у меня никакого не было — Леско был моим хахалем. А этот ваш аббатик даже выжал у меня слезу, хоть я и не ахти какая чувствительная. Телега и цепи — это было, да. Но на судно меня впахнули не в Гавре, а в Шербуре... Ладно, это мелочи, а вот когда я прочла про свою смерть, да как де Грие шпагой вырыл яму и закопал свою Манон в песок — меня здорово проняло. К тому же этак было бы куда лучше, чем то, что случилось со мной на Миссисипи взаправду. Ведь умерла-то я вовсе не так, как описано в книге... и вообще у меня все было еще хуже... Никакого де Грие я не знала, и никто меня не любил... Доведись мне повстречаться с вашим аббатишкой — уж я бы ему показала!.. Меня и впрямь звать Манон, да только Манон Леско совсем не я!

Другие дамы сочли, что наша беседа затянулась. Я понял, что им не терпится прекратить изливания по-

таскушки, и обратился к престарелой монахине в черном одеянии. Ее изможденное лицо под белоснежным чепцом казалось опаленным, глаза сверкали мрачным трагическим огнем.

— Марианна Алькофорода,— обратился я к ней.— Это вы — португальская монахиня, не так ли? Я читал ваши письма². Они изумительны.

— Вы их даже переиздали,— вздохнула она.— Но я на вас не в обиде. Это не ваша нескромность, а мсье де Шамильи, которому я писала в бытность его в Португалии. Он меня соблазнил и бросил. Я едва не умерла от горя, но господь бог — дабы продлить мне кару — обрек меня на жизнь до восьмидесяти лет... Вы только вообразите — шестьдесят лет тоски и позора, ибо о моем падении узнал весь свет, и от кого? От подлеца, коего я так самозабвенно любила, и кто, воротясь в Париж, в сей же год опубликовал мои письма!

Тут ее прервала еще одна оскорбленная героиня:

— Я — Люсиль де Шатобриан. Меня опозорил родной брат. Он написал в своей мерзкой книге «Рене», будто я была влюблена в него, а в «Загробных мемуарах», что я умерла душевнобольной...

Затем приблизилась высокая юная красавица с надменным лицом. Я тотчас узнал в ней Мари де Невиль, которую Стендаль вывел в «Красном и черном» под именем Матильды де ла Моль.

— Мсье Стендаль просто болван,— решительно заявила она.— Когда мы с Мериме его навещали, он неустанно твердил мне о любви и уверял, что опишет меня в романе. Он выполнил свое обещание, но как? Оказывается, я — мадемуазель де ла Моль! Благодарю покорно!.. Допустим, у меня были увлечения. Однако я никогда не стала бы любовницей какого-то наглого учителяшки вроде Жюльена Сореля. И если бы моего возлюбленного казнили, я никогда не додумалась бы положить отрубленную голову на столик и целовать ее в лоб! Брр-р, какая гадость! Меня тошнит при одной мысли об этом! Откуда мсье Стендаль это выкопал?.. Но я сержусь на него за другое. Если бы он в самом деле меня любил, то мог бы описать такой, какой я была в жизни. Думаю, что Мари де Невиль была достойна того — цельная, пылкая натура, достаточно благородная для героини литературного произведения... А как поступил автор «Красного и черного»? Его, видите ли, не уст-

раивал такой исключительный прототип! Может быть, мадемуазель де ла Моль похожа на меня, но это всс-таки не я, а то, что господа писатели называют «обобщенный портрет». Нос взят от одной, глаза от другой, черты характера нахватааны от кого попало — настоящий винегрет!.. А ведь мсье Стендаль имел возможность описать подлинную Матильду. Но он меня проглядел, как, впрочем и некоторых других женщин, в которых был влюблен — если верить мсье Мериме... хотя и тот, по-моему, был не лучше...

На меня пристально смотрела дама в амазонке, она то и дело подносила к губам платок, словно пытаясь заглушить жжение во рту от выпитого яда.

— Эмма Бовари! — воскликнул я.

— Нет, я не Эмма Бовари, а Дельфина Деламар,— возразила она.— Предполагают, что вдохновила Флобера на этот роман — я. Да, мы были знакомы. Иногда он заходил к мужу, который учился у его отца, доктора Флобера. Но Гюстав Флобер даже не смотрел в мою сторону — мне пришлось отравиться, чтобы привлечь его внимание... Признаюсь, мне он казался красавцем. И я всегда любила литературу. Прояви он ко мне хоть каплю интереса — я бы его боготворила. Подумать только, настоящий писатель!.. А он рассказал обо мне уже после моей смерти. И как? Подробно описал все, что меня окружало: людей, вещи, атмосферу... Но душу мою он так и не увидел. Флобер не только не понял меня, но даже утверждал, что Эмма Бовари — это он!.. Да разве у меня были когда-нибудь пышные усы, лысина и толстый живот?! О, горькая моя участь! В кои-то веки мне посчастливилось встретить писателя, и он меня не понял! Впрочем, никто меня не понимал. Оказывается, я просто была больна, и один умник даже назвал какую-то болезнь «боваризм!» Меня сочли сумасшедшей, но почему? Неужели только потому, что мне было скучно жить с тупым, неотесанным мужем в таком захолустье, как Ри? Потому, что я пыталась, хотя бы в воображении, вырваться оттуда? Потому что мечтала, жаждала счастья и заблуждалась, даря свою любовь невежам? О, как он был груб, этот Флобер! Он судил обо мне так же поверхностно, как все остальные!.. А ведь если бы мне повезло, я жила бы в Париже, богатая, счастливая, и право же, передо мною преклонялись бы, как перед многими другими женщинами, у которых на это не больше прав, чем у меня... Но когда, поверив в любовь и идеал, я решилась бежать из этой глухой дыры — меня назвали распутницей и забросали камнями!.. Ах, мсье, я правильно сделала, что отравилась!

Ко мне подошла тоненькая темноволосая девушка с лепивой грацией кресолки. Серые глаза, топкое бледное лицо, обрамленное длинными локонами, прямой пробор. Я колебался. Она это поняла:

— Я скажу вам, кто я. Вижу, что вы меня не узнали, и это не ваша вина. Мой автор так меня искажил, что я сама себя не узнаю в его, с позволения сказать, портрете. Он вывел меня в «Доминике» под именем...

— Мадлен де Ниевр! — вскричал я, растроганный воспоминанием об этом романе — когда нам было по шестнадцать лет, мы все поголовно были влюблены в эту героиню.

Она пожала плечами:

— Ну, если угодно, Мадлен де Ниевр. А в действительности — Женни-Каролина-Леокади Шессе, в замужестве Бери. Ничего общего с дамой из романа. Я была молода, жизнерадостна, довольно ветрена. Любила юного Фромантена, и мы были счастливы, хотя и недолго... Но он сильно приукрасил меня и написал о нас печальную книгу. Я не узнаю себя в этом зеркале — из наших двух любящих сердец только одно его схоже с оригиналом. А ведь любил-то он вовсе не ту рассудительную, осторожную и благоправную Мадлен, а меня. Я же была совсем иной...

Фромантен пришел меня проводить накануне моей смерти. Это было в Париже. Муж присутствовал при этом, и мы ни на секунду не смогли остаться наедине. Я знала, что умираю, и Эжен Фромантен — тоже. У него было такое взволнованное, такое несчастное лицо!.. Поймите, ведь именно эта сцена могла стать центральным эпизодом романа, а Фромантен ее не использовал. Он оставил Мадлен в живых, чтобы в его книге все было сплошным самоотречением, хотя на самом деле мы ни от чего не отказывались. Автор, видимо, писал лишь свои воспоминания, а его память извратила истину. Или же бедняга Фромантен не осмелился сказать правду. Так или иначе, но наш подлинный роман еще не описан...

Женни-Каролина-Леокади посторонилась, и ко мне подбежала девочка лет десяти в флорентийском костюме XIII века, как на картинах Джотто.

— А меня зовут Беатриче, — пропищала она. — Про меня все узнали, когда Данте сочинил «Божественную комедию». Говорят, что этот дяденька видел меня только один раз, а вот я так несколько его не помню. И книжку эту не читала. Он, кажется, написал, что я святая. А люди решили, что под моим именем он вывел Святую Церковь... Ой, до чего плохо быть символом, потому что становишься какой-то загадкой, а потом оказываешься

дурочкой оттого, что не знаешь, как объяснить то красивое, что он выдумал, когда меня увидел...

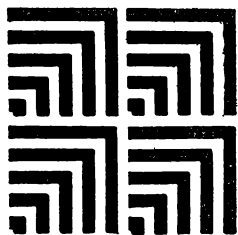
Тут появилась еще одна героиня. Оттолкнув маленькую Беатриче, она накинулась на меня с такой яростью, будто намеревалась свести со мною личные счеты. Однако я ее не узнал.

— Как вы посмели явиться сюда?.. Чтобы оскорбить меня, да? Описали стишками, словно я какая-то потаскуха!..

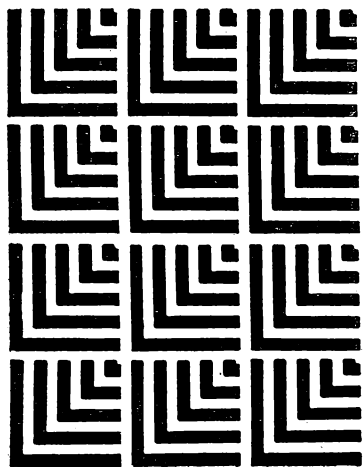
И вдруг все исчезло. Я очутился в реальной жизни и принялся обдумывать свое райское приключение, из которого — по зрелом размышлении — можно было сделать кое-какие выводы, лестные для литературы.

Портреты всегда более правдоподобны и более долговечны, нежели оригиналы. Героиня литературного произведения обретает под пером гения бессмертие.

Однако женское самолюбие — как бы ни стремилась прославиться дамы-вдохновительницы — может быть уязвлено тем, что авторы видят своих героинь не такими, какими они кажутся сами себе.



YILSON TAKER



Уилсон Такер
Wilson Tucker
Родился в 1914 г.

Американский фантаст.
Начал работать в 40-е годы,
в 50-е вышло несколько сборников его рассказов;
публикуемый рассказ
взят из его сборника «Время-икс» (1954).

Немногие теперь знают римские цифры и немногие пользуют-ся ими, но печатники и издатели иногда употребляют их для обозначения года выпуска первого издания или же для того, чтобы смутить читателя и продемонстрировать, насколько они сами образованы и учены. Иногда бывает не лишним взглянуть на дату выпуска Вашего словаря или энциклопедии. Кэри Кэрю ничуть не проиграл, обнаружив ошибку в своей энциклопедии, и, таким образом, дал Дэну Девлину возможность оставить правительство далеко позади.

У двери послышалось знакомое «дзинь-дзинь-динь!» Он нахмурился, взглянул на незаконченную фразу в машинке и, обернувшись к окну, посмотрел на улицу. Его всегда раздражало, когда прерывали работу этим непрошенным «дзинь-дзинь-динь»; возможно, если бы он мог заглушить этот последний звук «динь», то они перестали бы звонить. Он сильно наклонился на стуле, рискуя совсем свалиться, чтобы получше разглядеть, что там за окном. Но увидел лишь машину, стоявшую перед домом. Смирившись с неизбежным, Генри встал и побрел через соседнюю комнату к входной двери. На ходу он застегнул манжеты рубашки и попытался пригладить волосы. За дверью ведь могла оказаться и женщина — например, не далее как на прошлой неделе позвонила очаровательная юная мисс, продающая котелки и сковородки. Повернув ручку, он рывком открыл дверь.

Два унылых джентльмена.

— М-р Кэрю? — вежливо спросил тот, что стоял ближе. — Кэри Кэрю?

На лице Генри застыла довольная улыбка.

— Это мой псевдоним, — ответил он любезно.

— Ах, вот как? Генри Мейсон, не так ли?

— Да, это я.

— Я знаю, что Вы человек занятой, м-р Мейсон, но не сможете ли Вы уделить нам несколько минут? Меня зовут Гроувз.

Генри Мейсон удивленно поднял брови.

— А что случилось?

Гроувз проворно полез во внутренний карман и достал бумажник. Ловко раскрыв его одной рукой, он вынул и показал серебряный жетон.

— ФБР, — сказал он вежливо. — Есть также и удостоверение.

— Но послушайте-ка! — возмущился Генри. — Я могу дать отчет за каждый пенни! Я всегда храню свои квитанции и сче-

та, и каждый потраченный мною пенни — это законный расход. Я могу показать Вам...

— Нет, нет,— сказал Гроувз, все еще вежливо.— Я из ФБР, м-р Мейсон, я не из финансового управления.

Мейсон недоумевающе моргал глазами.— А-а!

— Разрешите войти? А то Ваши соседи начнут любопытствовать.

Он улыбнулся ничего не значащей улыбкой.

Генри впустил вежливого агента ФБР и его коллегу, который лишь присутствовал при сем, никак не проявляя себя. Он провел их в свой рабочий кабинет, потому что там было кресло, и комната эта была самой уютной во всем доме. Стены ее были уставлены книжными полками и ящиками для картотеки, повсюду лежали стопки бумаги для печатания — все атрибуты писательского ремесла. Он предложил агенту кресло, принес еще одно для его коллеги, а сам присел возле письменного стола, осторожно опершись на машинку.

— Мои соседи,— сказал Генри,— всегда следят за мной. Они считают, что я странный.

— В самом деле? — так же вежливо осведомился агент.

— Маскировка,— Генри небрежно махнул рукой.— Это делает мою деятельность необычной и таинственной и повышает спрос на мои книги, а, кроме того, держит соседей на расстоянии. Вечно суют свой нос, куда не просят. — Генри молча протянул руку агенту. Тот уставился на раскрытую ладонь, а затем, как бы прочтя его мысли, снова достал бумажник, раскрыл его и положил на ладонь Генри. Тот поднес его поближе, чтобы лучше ознакомиться с удостоверением. Он прочел краткие данные об агенте, его фамилию, а затем внимательно посмотрел на него самого, сравнивая с маленькой фотографией. Да, если это не фальшивка, то это действительно Артур Гроувз, агент ФБР. Генри накрыл ладонью серебряный жетон, чтобы лучше почувствовать его наощупь. Он видел, что агент следит за ним.

— Проверяю его,— объяснил Генри.— Когда-то я написал рассказ, в котором главный герой, изучая вот так же жетон, обнаружил, что правительственный агент просто мошенник. Серебро, в отличие от другого металла, наощупь прохладно.

— Ясно. Ну, как, Вы удовлетворены?

— Пожалуй. Вы действительно из ФБР; все в порядке. Значит, ваш визит не связан с налогами?

— Разумеется, нет. Я совсем по другому поводу. М-р Мейсон, мы прочли некоторые из Ваших последних рассказов. Кэри Кэрю просиял.

— Они вам понравились?

— Боюсь, что я недостаточно компетентен, чтобы их оценить,— ответил агент.— Нас интересуют не их художественные достоинства, м-р Мейсон, а их содержание. Некоторые из

Ваших последних рассказов повествуют о приключениях секретного правительственного агента, и их содержание... гм... чрезвычайно интересно.

Кэри Кэрю холодно и презрительно посмотрел на агента.

— Контроль над мыслями! — сказал он резко.

— Простите?

— Я сказал: контроль над мыслями. Вы намерены диктовать мне, что думать и о чем писать! Я так и знал, что наше правительство когда-нибудь скатится до этого!

Гроувз слегка пахмурился.

— Но это вовсе не так, м-р Мейсон. Я не собираюсь подсказывать, что Вы должны или не должны писать. Цель моего посещения совсем другая. Я хотел бы знать содержание кое-каких Ваших рассказов, которые Вы уже написали и опубликовали.

Минуту или две, показавшихся Генри бескопечным, он смотрел на собеседника и лихорадочно вспоминал последние из своих рассказов, которые появились в печати.

— Так, — сказал он наконец. — Понимаю.

— Что, разрешите узнать?

— Понимаю, зачем вы здесь. Крамольные мысли!

— Простите?

— Крамольные мысли. Всякая мысль, не совпадающая с официальной политикой Вашингтона, считается преступлением.

В эту минуту писатель являл собою страшную смесь из перепуганного гражданина Мейсона и дерзкого писателя Кэрю. Ну, что же — уж если ему суждено попасть в тюрьму, то он отправится туда не иначе как с высоко поднятой головой.

— Иногда я отражаю в своих рассказах кое-какие собственные суждения. А теперь, когда Вашингтону стало это известно, он натравил на меня свору ищеек. — Он оглянулся на второго агента и мысленно поправился: «Двух ищеек!»

Гроувз посмотрел на своего молчаливого спутника, сидевшего поодаль. Тот, наконец, нарушил молчание.

— Странный тип, — пробормотал он.

Гроувз покачал головой и снова стал терпеливо объяснять.

— М-р Мейсон, Вы упорно не желаете меня понять. Нас не интересуют ни Ваши мысли, ни Ваша философия. Нас интересует кое-что в Ваших рассказах, где речь идет о секретном правительственном агенте. Как там зовут этого Вашего парня?

— Дэн Девлин, — с готовностью подсказал Кэри Кэрю.

— Вот-вот. Дэн Девлин. Этот м-р Девлин ловкач хоть куда! Я сказал бы, что за всю его короткую карьеру ему довелось повидать куда больше, чем мне за все годы службы агентом ФБР.

— Благодарю Вас.

— Короче говоря, м-р Мейсон, этот Ваш Девлин знает о государственных тайнах куда больше, чем мы сами.

— Неужели?

— Да. Например, в одном из последних Ваших рассказов он у Вас срывает все планы вражеского шпиона, который собирался выкрасть чертежи атомной бомбы. Насколько я помню, ему удается-таки завлечь шпиона в западню, схватить его и вернуть украденные документы. А затем, м-р Мейсон, Вы раскрываете содержание документов, заставив Вашего героя читать их, и, таким образом, даете возможность и читателям узнать, о чем идет речь. Документы излагаются очень подробно. Вы, например, подчеркиваете, что для создания критической массы необходимо 22,7 фунта урана-235, называете материалы, из которых сделана оболочка бомбы, подробно излагаете конструкцию взрывного устройства, а затем сообщаете о ее разрушительной силе на определенном участке.

— Разумеется,— радостно сказал Кэри Кэрю и кивнул на полки, набитые книгами.— Я всегда провожу самые тщательные исследования.

— Это сведения, не подлежащие огласке,— сказал агент.— Или, вернее, они не подлежали огласке, пока Вы не написали обо всем этом.

Казалось, он и сам был огорчен.

— Изыскания, подкрепленные подлинными документами, всегда придают достоверность,— с гордостью пояснил Кэрю.

— Очевидно, Вы меня не поняли. Я сказал, что эти сведения не подлежат огласке. Они засекречены.

Генри посмотрел на него.

— Что засекречено?

— Подробные данные о бомбе, которые Вы опубликовали в рассказе.

— Вздор,— сказал писатель.

Второй агент подался в кресле вперед, внимательно вглядываясь в Мейсона.

— Это не вздор. Как Вы это объясняете?

— Кто Вы такой? — спросил Генри.

— Кларк,— рявкнул тот.— Си-Ай-Си.

— А что это такое? — заинтересовался Генри.

— Вам следовало бы знать,— ответил, недовольно нахмурившись, Кларк.— Этот Ваш Девлин работает на нас.

— А-а! Вы имеете в виду *это*? Служба контрразведки! Черт побери! Я вижу, что вы времени зря не теряете. Так вам понравились мои рассказы?

— Мы прочли их очень внимательно. Ну, так как же?

— А вы о чем?

— Каким образом Вам достались секретные сведения об атомной бомбе, которые Вы опубликовали?

— В результате научных изысканий, я уже говорил Вам.

— Скажите это кому-нибудь другому! Они нигде не были опубликованы!

Генри торжествующе выпрямился.

— Вот тут-то Вы и ошибаетесь! Были!

— Нет, не были!

— Были.— Он сделал драматический жест рукой.— Вот здесь.— Его торжествующий палец указал на энциклопедию. Эта энциклопедия была его гордостью и отрадой, поистине золотоносным источником информации по любому вопросу. Не раз она приходила ему на помощь, когда надо было создать достоверный фон, экзотическую атмосферу; в ней он находил краткие сведения, неизвестные дотоле даты и факты. Эта необычайная энциклопедия давно уже окупала себя, давая ему материал для многих его рассказов.

Агент Си-Ай-Си взглянул на энциклопедию лишь для того, чтобы убедиться, что она существует.

— Вы бы лучше подыскиали себе более веское алиби.

Кэри Кэрю бросил на него презрительный взгляд.

— Не понимаю, как могли Вас взять в контрразведку. К разумному выводу можно прийти только тогда, когда проанализируешь все доказательства. Дэн Девлин живет, следуя этому правилу.

— Между нами говоря, приятель, Дэну Девлину недолго осталось жить. Так откуда же Вам известны секретные данные?

— Вон оттуда! — чуть не закричал Генри.

— Ну, ладно, давайте показывайте и покончим с этим,— вмешался Гроувз, который уже утратил остатки вежливости.— Нас также интересует все, что касается ракет.

Кэри Кэрю оживился.

— Да, да! Это мой рассказ «Белые Пески». Это одна из самых лучших моих вещей. Вот в этом-то рассказе вражеский шпион и задал Девлину перцу.

Гроувз утомленно сказал: — В этом рассказе благодаря стычкам между вражеским шпионом и Дэном Девлином всплыли наружу многие тайны. Где Вы раздобыли секретные сведения о составе топлива, необходимого для запуска ракеты, где взяли сведения о высоте ее полета, а также о метеорологических данных, получаемых ракетой в полете, и как узнали о сплавах, из которых сделана ракета, и о технологических методах ее конструирования? Как Вам удалось узнать точную дату запуска ракеты, и сколько времени она находилась в полете, а также место ее приземления, и какую часть ее удалось восстановить?

Кэрю небрежно указал на энциклопедию; лицо его явно выдавало его мнение о правительственных агентах.

Кларк перелистывал страницы первого тома, приближаясь к разделу «Атом». Генри, ухмыляясь, следил за ним. Наконец,

Кларк дошел до раздела «Атом», перелистал еще несколько страниц до раздела «Атомная энергия» и, откинувшись па стуле, принялся читать. В комнате было тихо, и только одинокая муха жужжала у окна, тцетно пытаась найти выход. Генри оглядел свой небольшой кабинет, многочисленные книжные полки, с нежностью созерцая ящики для картотеки, и сердце его преисполнилось гордости. Его ящики для картотеки были заполнены уже опубликованными рассказами и черновыми набросками произведений, которые только и ожидали того, чтобы их отшлифовали и отправили в издательство. На книжных полках было много ценных справочных изданий.

В тех редких случаях, когда его приглашали прочитать лекцию в женском клубе, или на встречах студентов с писателями он любил говорить, что преуспевающий писатель — это писатель, книги которого охотно читают. Лучше всего было бы внушить этим молодым, жадным до всего умам, что путь к литературной славе — путь далеко не гладкий и не легкий; тот, кто пишет, должен...

— Эй! — Испуганный возглас Кларка ворвался в его мысли и нарушил молчание, царившее в комнате. — *Вот оно!* —

— Конечно, — просто с достоинством сказал Кэри Кэрю.

— Достоверность — вот краеугольный камень подлинной беллетристики.

— Что? — спросил недоверчивый Гроувз.

— Ну все как есть — каждое проклятое слово, — заявил Кларк. — Точь-в-точь!

— Ну уж, полноте, — слабо запротестовал Кэрю. — Я не плагиатор. Я всегда переписываю тот материал, который служит мне источником.

— Но этого не может быть — это же не было опубликовано!

— Было, — повторил Генри.

— Это невозможно! Не может быть, чтобы это появилось в печати.

— Может, — сказал Генри.

— Здесь что-то не так — какое-то ужасное недоразумение.

— Вы сами виноваты в этом, — сказал Генри.

Гроувз потянулся за томом и чуть не вырвал его из рук своего спутника. Кларк повернулся к книжному шкафу и стал быстро просматривать корешки книг, перебирая алфавитные индексы. Он искал сведения о ракетах, особенно о тех, новых, которые были запущены с Белых Песков, в Нью-Мехико.

— Том двадцать девять, — с готовностью подсказал Генри.

Кларк пробормотал что-то в знак благодарности и резким движением потянулся за книгой. Снова воцарилась тишина, и время от времени раздавались ошеломленные, недоверчивые возгласы. Гроувз тем временем прочитал статью об атомной энергии и пзумленно уставился на обои. Там было напечатано

краткое содержание миллионов секретных сведений, тщательно оберегаемых от постороннего взгляда взаперти в подвалах Вашингтона. Это было невероятно. Он взглянул на Кларка, сидевшего напротив, и увидел точно такое же выражение на его лице. Кларк только что окончил читать еще один краткий отчет об экспериментальных ракетах на Белых Песках, информация о которых, как предполагалось, была известна только Белым Пескам да Вашингтону. Поражаясь, Гроувз перевернул том и уставился на корешок. Энциклопедия была издана старинной и уважаемой нью-йоркской фирмой.

— А что еще натворил Ваш Дэн Девлин? — спросил он ошеломленно. — Что Вам еще стало известно?

— Ну, — скромно сказал Кэри Кэрю, — еще было приключение с атомной пушкой и скверное дело с ручными плутониевыми гранатами, и сейчас один из журналов готовит к печати мой самый последний рассказ о биологической войне. Вражеский шпион проникает в Денвер...

Недоверчивый Кларк оборвал его: — И об этом тоже есть здесь?

Генри утвердительно кивнул: — Я полагаю, в том третьем.

— О, не может быть!

— О, да! — уверил его Генри.

Гроувз, казалось, снова обрел способность здраво мыслить.

— Где Вы приобрели эту энциклопедию?

— У разносчика.

— Разносчика?

— Да. Здесь вечно кто-нибудь останавливается, мешая мне работать. Дверной звонок испорчен — ну, не совсем, но он все же тренькает: «*дзинь-дзинь-дзинь*», как Вы видите, и это уже действует мне на нервы. И только однажды, на прошлой неделе, я не обратил на это внимания, потому что у дверей остановилась симпатичная девушка, продающая котелки и сковородки, и я сказал ей... Что?

— Разносчик книг, — нетерпеливо повторил Гроувз.

— Да, да, конечно, разносчик. Я над чем-то работал, и звонок у двери задребезжал: «*дзинь-дзинь-дзинь*!» И там стоял он. Я после и не раскаявался, потому что это хорошее издание, и оно мне нужно. Шестьдесят пять долларов.

— Шестьдесят пять долларов! — Кларк схватился за голову. — Более десяти лет работы и все это за шестьдесят пять долларов!

— Что с ним? — спросил Генри.

Гроувз посмотрел на Генри Мейсона, как на младенца.

— Он расстроен, — объяснил он отчетливо и медленно. — Для него это несчастье. Он секретный агент Соединенных Штатов. В течение десяти лет, или даже более того, он и сотни других таких же агентов долго и упорно работали, чтобы сохранить наши военные тайны в секрете, чтобы сделать их не-

доступными для тех, кто сует свой нос не в свои дела, а Вы покупаете комплект книг стоимостью в шестьдесят пять долларов, который позволяет Вашему Дэну Девлину раскрыть все это. Грубо говоря, теперь он рассекречен.

Генри внимательно посмотрел на склоненную голову второго агента и произнес: — О-о-о!

— А теперь слушайте внимательно. Я хочу, чтобы Вы рассказали мне об этом разносчике. Мне надо, чтобы Вы подробно описали его и повторили все, что он Вам говорил. Я хочу знать все.

— Зачем?

— Потому что, возможно, еще не слишком поздно. Если было распродано всего лишь несколько тысяч экземпляров этой энциклопедии, то мы можем собрать их и сжечь.

— Вы полагаете, я могу помнить о случайной сделке, которую заключил год назад? — раздраженно спросил Генри.

— Вы занятый собеседник! — сказал Гроувз.

Запрещенный удар попал в цель.

— Конечно, — сказал Генри. — Ну, а теперь дайте-ка мне минутку подумать... — Он закрыл глаза и притронулся к векам кончиками пальцев.

— Это было так...

Звонок у входной двери привычно продребезжал: «*дзинь-дзинь-дзинь!*» Генри, поморщившись, взглянул на лежащие перед ним гранки, повернулся в кресле и посмотрел в окно. Опять ему помешали; если так будет продолжаться, он к завтрашнему не закончит править гранки, и это будет означать, что книга его не будет вовремя отпечатана, переплетена, сдана на склад и не попадет к рождественской распродаже. А вдобавок ко всем этим неприятностям мисс Уинстон из издательства напишет ему язвительное письмо.

Генри вздохнул, отодвинул в сторону гранки, встал из-за стола и прошел через соседнюю комнату к двери. Открыв ее, он увидел пожилого весело улыбавшегося джентльмена с моржовыми усами.

— А-а, доброе-утро, м-р Кэрю, доброе утро, доброе утро. Сегодня прекрасный день для творчества, не так ли? И как же продвигается Ваша работа?

— Ну-у, пожалуй, неплохо, — ответил Кэри Кэрю. — Но мне ничего не нужно.

— М-р Кэрю, как Вы можете так говорить? Никто не может похвастаться, что его произведения охотно читает публика или что он хорошо осведомлен обо всем, если у него нет солидных знаний в области сокровищницы мировой литературы, знаний, накопленных веками. М-р Кэрю, человеку с Вашей репутацией просто пемыслимо обойтись без вот этого.

Кэри Кэрю смотрел на моржовые усы, которые подпрыгивали, когда мужчина говорил.

— Без чего?

— М-р Кэрю, я ожидал Вашего вопроса. Это свидетельствует о том, что Вы человек проницательный, человек пытливого и ищущего ума, который старается найти правду и свет в чуждом темном и невежественном мире. М-р Кэрю, Вы вполне можете гордиться своими передовыми взглядами. — Престарелый джентльмен все говорил и говорил, скорбя об отсталых путях, которыми идет внешний мир, и громко восхищаясь необычайностью силы и света личности Кэри Кэрю. Усы стремительно шевелились, и старый джентльмен сам был весь как стремительный поток.

— Вам, сэр, — сказал он, — необходимо иметь один экземпляр.

— Один экземпляр чего? — повторил Генри.

— Современной и новейшей энциклопедии мира, состоящей всего лишь из тридцати шести великолепных томов, сокровищницы знаний, умно и всеобъемлюще раскрывающей мир прошлого и настоящего. К счастью, у меня в руках оказался первый том. Обратите внимание на превосходный переплет и на изящное золотое тиснение; а теперь давайте перелистаем несколько страниц, чтобы Вы могли увидеть богатейшую технику печати и качество бумаги. Можно гарантировать, м-р Кэрю, что эта энциклопедия переживет Вас и Ваших детей.

— Я не женат, — сказал ему Генри.

— Человек Вашего литературного дарования просто-таки не может обойтись без нее.

— Сколько она стоит? — осторожно спросил Генри.

— Всего лишь шестьдесят семь долларов пятьдесят центов. Удачная сделка, редкая в наше время растущих цен и дрянной продукции.

Генри потрогал наощупь том. — Это новое издание? — впе-
запно спросил он. — Устаревшее мне не нужно.

— Новое? Дорогой мой м-р Кэрю, посмотрите-ка на вот это! — И разносчик, раскрыв переплет, перелистал страницу-другую и остановился на цветном фронтисписе. Он повернул книгу так, чтобы Генри мог видеть ее. На прекрасном литографическом портрете в четыре краски был изображен красивый представительный мужчина, а надпись внизу гласила:

Дуайт Д. Эйзенхауэр
Президент Соединенных Штатов
1952¹ —

— Ну, что же,— согласился Генри.— Это достаточно новое издание.— Его наметанный глаз пробежал титульный лист, отмечая шрифт и макет книги, фамилии нескольких редакторов и издателя, и остановился, наконец, на дате подписи в печать. Его взгляд привлекли римские цифры, и он снова вернулся к ним, чтобы прочесть их еще раз, медленнее.

— Ага! — ликующе закричал он прямо в лицо продавца.— Ошибка!

— Нет! — Моржовые усы подскочили высоко вверх.

— Да. Уж я-то умею читать римские цифры. Посмотрите-ка вот на это: MCMLV. Ясное дело, типографская ошибка. Корректор был не очень-то внимателен.

— Боже мой, боже мой! — сказал продавец.— Тс, тс, тс. М-р Кэрю, меня так огорчает этот изъян в моем товаре. Я вынужден сделать скидку. Шестьдесят пять долларов.

Генри усмехнулся про себя, полагая, что совершил удачную сделку.

— Беру!

Старый джентльмен выбежал к машине, стоявшей у обочины тротуара, и возвратился с остальными тридцатью пятью томами. Он принял от Генри чек, бодро попрощался с ним и уехал. Генри тотчас забыл об ожидавших его гранках, сел и принялся перелистывать тома, ища сведения, которые он смог бы использовать для Дэна Девлина.

— Вот и все, что я могу сообщить Вам,— сказал он Гроувзу.

Выслушав рассказ, Гроувз открыл первый том там, где был литографский портрет и титульный лист. Затем он внимательно просмотрел предисловие от автора.

— Что означает «MCMLV»? Почему Вы считаете, что это ошибка?

Генри наклонился через его плечо.

— «МСМ — тысяча девятьсот; это первое «М» обозначает одну тысячу, тогда как последующие «СМ» обозначают девятьсот: из тысячи надо вычесть сто. Если бы «С» следовало за «М», то это обозначало бы тысячу плюс сто. Итак тысяча девятьсот. Буква «L» — это пятьдесят, а V — пять. 1955. Это, конечно, следовало бы читать «1953».

В другом конце комнаты Кларк лихорадочно хватал тома с полки, рассматривая дату выпуска каждого из них. Через некоторое время он поднял голову.

— У них у всех одна дата.

— Конечно,— согласился Генри,— мне поэтому и сделали скидку на два пятьдесят. Он подумал немного, потом добавил: — Энциклопедия разочаровала меня только в одном отношении. В ней ничего нет о космической станции.

Кларк вдруг резко обернулся.— Космической станции?

— Да, представьте. В прошлую войну у Германии были

чертежи космической площадки, которую можно подвесить в небе, на высоте в тысячу миль. После войны Соединенные Штаты захватили чертежи. В журналах появилось множество всяческих рассуждений о космических станциях, рисунков и всего такого прочего; некоторые считают, что это будет заправочная станция для ракет, идущих к Луне, а другие утверждают, что это будет военный наблюдательный пост, вращающийся вокруг Земли. Мне пришло в голову, что Дану Девлину это могло бы пригодиться.

— И во всех томах ничего нет об этом? — озабоченно спросил Кларк. — Ничего о космической станции?

— Ни слова. Поистине, полное разочарование.

Кларк взглянул на Гроувза, прикрыл глаза и вздохнул. Сомневаться не приходилось — он совершенно явно благодарил бога. Открыв глаза, он обратился с просьбой к Генри.

— Я хочу воспользоваться Вашим телефоном.

— Вон там, — указал тот.

Генри и Гроувз молчали, пока он говорил. Им ничего и не оставалось другого, так как аппарат был слишком близко. Кларк вызвал свое управление в Вашингтоне и подробно доложил обстановку; держа том в руке, он прочел вслух титульный лист, а затем рассказал о типографской ошибке; о секретных сведениях в энциклопедии и о том, как Дэн Девлин свободно воспользовался всем этим, чтобы выиграть множество вымышленных сражений с вражеским шпионом. Затем последовало долгое молчание. Кларк ожидал, поигрывая телефонной трубкой, поглядывая в окно, то и дело поворачиваясь, чтобы видеть этих двоих, наблюдавших за ним.

— Они звонят в Нью-Йорк, чтобы связаться с издателем, — пояснил он Гроувзу. Гроувз кивнул, и молчание воцарилось снова. Через несколько минут далекий голос опять заговорил, и агент службы контрразведки взорвался:

— Ну уж, это слишком! Я держу его в руках! — Голос в трубке продолжал что-то быстро трещать.

— Да, он здесь, со мной. Может это подтвердить. Тридцать шесть томов. — Он послушал еще немного, и лицо его побавровело. Наконец он сдавленно произнес: — Да, сэр, — и повесил трубку.

Гроувз выжидающе смотрел на него.

— Такого издания не существует, — сказал Кларк, махнув рукой в сторону книжной полки. — Нью-йоркский издатель еще не выпустил его.

— Чепуха! — воскликнул Генри.

Кларк пронзительно взглянул на писателя.

— Издатель сказал, что он с 1949 года не издавал этой энциклопедии. Далее он заявил, что они предполагают выпуск нового издания примерно через два года, ожидая разрешения Вашингтона на печатание некоторых материалов. Ко-

роче, если Вашингтон найдет, что новое издание необходимо, то они будут печатать.

— Шестьдесят пять долларов,— напомнил ему Генри, указывая на разбросанные книги.— Я пользуюсь ими уже несколько месяцев.

— Да.— Кларк вытащил бумажник и тщательно отсчитал шестьдесят пять долларов. Деньги он передал писателю.

— Мне нужна будет расписка.

— За что это?

— За энциклопедию, которой не существует. Мне приказано конфисковать книги.

— Вы не сделаете этого!

— Я как раз это и делаю. Расписку, пожалуйста.

— Но мне нужна эта энциклопедия!

— Вы можете купить другую в городе,— заметил Кларк, а затем добавил резко: — Только на сей раз покупайте такую, которая уже существует, которая была издана несколько лет назад.

Он наклонился и принялся подбирать книги. Гроувз вскочил, чтобы помочь ему.

Генри следил за ними. Внезапно он огрызнулся: — Лягавые!

Те продолжали возиться со своей добычей.

Звонок у двери издал привычное «*дзинь-дзинь-динь!*» Генри прервал фразу и размышлял о том, что следует заглушить дребезжание звонка тряпьем, дабы прекратили ему надоедать. За последние несколько дней ему было трудно работать без привычных книг, которые так воодушевляли его, и сейчас Дэн Девлин как раз оказался замешан в это дело с фальшивомонетчиками, которое и выведенного яйца-то не стоило.

Он заворчал вслух и, оттолкнув стул, прошел к двери. Блестящая новая машина стояла у обочины тротуара, машина, каких он еще до сих пор не встречал. Она была похожа на те экспериментальные модели, которые встретишь лишь на автомобильных выставках — машина будущего. Машина была очень приземистая, сверкающая и какая-то даже футуристическая. Он взирал на нее с изумлением.

Голос где-то пониже уровня его глаз пропел радостное приветствие:

— А-а, доброе утро, м-р Кэрю, доброе утро, доброе утро! Неплохой денек для творческой работы, не правда ли? И как же идут дела?

Кэри Кэрю перевел взгляд с необыкновенной машины на престарелого джентльмена с моржовыми усами.

— Скверно,— сказал он.— Я лишился своей энциклопедии и, следовательно, лишился источника вдохновения.

— Да неужели, сэр? — воскликнул старый джентльмен. — Какая удача, что я оказался здесь. По счастливой случайности у меня как раз в руке первый том наиновейшего издания, только что вышедшего из печати. Пощупайте сами великолепное качество обложки, посмотрите, пожалуйста, какая плотная белая бумага и какой крупный, удобный для чтения шрифт. Уверю Вас, м-р Кэрю, это новое издание превзойдет во всех отношениях все другие энциклопедии, в нем Вы найдете все новейшие достижения мира. И притом совсем даром, всего лишь шестьдесят семь долларов пятьдесят центов.

Генри пристально смотрел на него.

— В нем есть все о космической площадке?

— Конечно, конечно, дорогой сэр. Самые новейшие и исчерпывающие сведения о предмете плюс, конечно, смежные области. Это новое издание по своим данным ушло на годы вперед по сравнению со всеми остальными выпусками. Но подождите немного — и Вы сами убедитесь. — Старый джентльмен повернулся и поспешил к блестящей новой машине. Он извлек из багажника комплект энциклопедии и в три приема перенес все тридцать шесть томов к двери.

— Предлагаю Вашему самому тщательному вниманию, м-р Кэрю. Человеку Вашего необычайного интеллекта нужно только самое лучшее.

Кэри Кэрю нагнулся, взял том «Социология — Судеты» и, быстро листая, стал отыскивать так нужные ему сведения. Глаза его широко раскрылись от восторга. Это было именно то, что надо: три с половиной столбца о космических станциях, космических площадках, орбитах, военные характеристики и тому подобное.

— Беру! — тут же заявил он.

— Вы удивительно понимаете толк в вещах! — сказал разносчик.

Тут у Генри где-то в глубине сознания быстро промелькнула запоздалая мысль, и он вернулся к титульному листу, чтобы прочесть дату выпуска издания. Он поднял укоризненный взгляд на старого джентльмена, и ему захотелось погрозить ему пальцем.

— Тс, тс, — сказал он. — Та же самая ошибка.

— В самом деле? — спросил разносчик. Он внимательно рассматривал неприятную дату. — Это весьма прискорбно.

— MCMLVII, — прочел вслух Кэри. — Это обозначает «1957». Ваши корректоры не очень-то внимательны.

— Меня восхищают Ваши обширные знания, сэр! — сказал разносчик. — Ум Ваш столь же острый, как и зрение. А что, если я снижу цену на два с половиной доллара?

— Беру, — повторил Генри и выписал чек. Он внес за порог все тридцать шесть томов, а затем постоял немного на крыльце, наблюдая, как отъезжает старый джентльмен. Это

была поистине эффектная машина — нечто такое, чего не увидишь на улицах еще лет пять или десять.

Генри выбрал один из драгоценных томов и удалился в кабинет. Он вынул из машинки рассказ о фальшивомонетчиках и швырнул его в корзину для бумаг; откинувшись в кресле, он принялся читать сведения о космической станции.

Судя по статье — космическая станция уже существует.

Кэри Кэрю мысленно начал сочинять рассказ: Дэн Девлин опять шел по следу.

Мир
в
наших
руках

**МАРК
ТБЕИ**

Марк Твен
Mark Twain
(псевдоним Сэмюэла Клеменса)
1835—1910

Американский классик.
Прежде, чем стать писателем,
сменил много профессий:
был учеником в типографии в родном городе,
лоцманом на Миссисипи,
старателем на Дальнем Западе, журналистом.
Произведения Марка Твена
(«Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри
Финна», «Принц и нищий», «Янки при дворе короля Артура»
и многие другие) популярны во всем мире.
У нас в стране
не раз выходили собрания его сочинений,
многочисленные издания
отдельных книг Твена.

Мы еще не осознали до конца, какая величайшая катастрофа постигла нашу страну в связи со смертью Чарльза Диккенса. Избрав предлогом покойного беднягу Диккенса, Америку теперь заговорят до смерти всевозможные проходимцы-лекторы и чтецы. Любой бродяга, едва разбирающий по складам, будет терзать публику «чтениями» из «Пиквика» и «Копперфилда»; любое ничтожество, которое обрело какие-то человеческие черты благодаря мимолетной улыбке или доброму слову великого писателя, превратит каждое священное воспоминание в предмет торговли, постарается как следует заработать на нем. Толпы этих счастливицев будут осаждать лекционные кафедры. Первые признаки этого мы уже наблюдаем.

Смотрите, вороны уже закружили над мертвым львом и готовятся пировать.

«Рассказ о Диккенсе» — лекция Джона Смита, который восемь раз слышал выступления писателя.

«Воспоминания о Чарльзе Диккенсе» — лекция Джона Джонса, видевшего Диккенса один раз в вагоне конки и два раза в парикмахерской.

«Памятные встречи с мистером Диккенсом» — лекция Джона Брауна, известного своими неистово хвалебными статьями и восторженными речами по поводу выступлений великого писателя; ему довелось пожимать руку Диккенсу и несколько раз с ним беседовать.

«Отрывки из произведений Диккенса» — исполнитель Джон Уайт. Посещая все выступления великого романиста, он в совершенстве усвоил стиль его речи и манеру говорить, ибо каждый раз, вернувшись домой, он под свежим впечатлением старательно воспроизводил все наиточнейшим образом. После чтения отрывков мистер Уайт продемонстрирует присутствующим окуроч сигары, которую курил при нем однажды мистер Диккенс. Эта реликвия хранится у него в специально изготовленном ларце из чистого серебра.

«Взгляды и высказывания великого писателя» — общедоступная лекция Джона Грэя, официанта, обслуживавшего Диккенса в нью-йоркском «Гранд-отеле». Посло лекции Джон Грей представит на всеобщее обозрение кусочек от того ломтика хлеба, который покойный романист ел во время своей последней трапезы в нашей стране.

«Незабываемые, бесценные минуты с покойным королем литературы» — лекция мисс Сирины Амелии Триффени Макспадден, которая носит не сиюминутная — и будет вечно носить — перчатку на руке, ставшую святыней благодаря рукопожатию Диккенса. Только смерть разлучит мисс Макспадден с этой перчаткой!

«Отрывки из произведений Диккенса» — исполнительница миссис Дж. О'Хулиган Мэрфи, прачка, стиравшая белье Диккенса.

«Интимные беседы с великим писателем» — лекция-рассказ Джона Томаса, который во время пребывания Диккенса в Соединенных Штатах две недели был его камердинером.

И так далее в том же духе. Впрочем, я не перечислил даже и половины. Например, требует слова человек, хранящий у себя «зубочистку, которой Чарльз Диккенсковырял однажды в зубах», человек, «ехавший как-то раз в омнибусе с Чарльзом Диккенсом», и дама, которую Чарльз Диккенс «великодушно защитил от дождя своим зонтиком», и особа, которая хранит у себя «дырку от носового платка Чарльза Диккенса». Терпение и кротость, добрые люди, ибо я назвал еще далеко не все, что вам предстоит вынести этой зимой. Каждый, кто случайно столкнулся с Диккенсом или перекинулся с ним двумя-тремя банальнейшими словами, будет рваться к трибуне и насиловать своими излияниями слух незащитных соотечественников. Для иных людей встреча с гением просто губительна.

DAA

step th
ioment

א
מ

zu pue
a uino.

step by
the PM

the beg

red for

Very High Management

reader:

cal Po
ern tech

Math Class

criptions

es the

more ex-
-ramic

ed power
as a ver

dinner a

advice.

Practi

$$n! \bmod$$

perience

S* give

esigner,

1. He be

he author

k. the

own p
ondor

well-k

and p
nib.

is the

Central

uniques

rafts in

Library

Роалд Дал
Roald Dahl
Родился в 1916 г.

Английский прозаик.
Известность Роалду Далу
создали сборники его рассказов:
«Кто-то похожий на тебя» (1953),
«Поцелуй, поцелуй» (1960) и другие.
**Многие рассказы Дала — фантастические;
некоторые из них печатались в сборниках
научной фантастики издательства «Мир»
и в периодических изданиях.**

ЧУДЕСНЫЙ ГРАММАТИЗАТОР

— Найп, мой мальчик, теперь, когда заказ сдан, я вызвал вас, чтобы поздравить с отлично выполненной работой.

Эдолф Найп неподвижно стоял перед письменным столом мистера Боулена. Вид у него был скучный.

— Это вас не радует?

— Что вы, мистер Боулен. Напротив.

— Вы сегодня просматривали утренние газеты?

— Нет, сэр.

Мистер Боулен потянулся за сложенной пополам газетой и начал читать:

— Завершен монтаж мощной электронно-вычислительной машины, которая сконструирована по специальному заказу правительства. Полагают, что на сегодняшний день это самая быстродействующая ЭВМ в мире. Мистер Джон Боулен, глава фирмы, выпускающей электронное оборудование (этой фирме машина обязана своим появлением на свет), сказал, что новая ЭВМ через пять секунд дает ответ на задачу, над решением которой квалифицированный математик бился бы целый месяц. Эта машина найдет применение во всех областях науки, в промышленности...

Тут мистер Боулен поднял взгляд на длинное унылое лицо молодого человека.

— И вы этим не гордитесь, Найп? Неужто вы не рады?

— О чем речь, сэр, конечно, рад.

— Думаю, мне нет необходимости напоминать вам, как много значило ваше участие в разработке основных проектов. Более того, я даже считаю, что, не будь вас, эти проекты, пожалуй, по сей день еще красовались бы на чертежных досках.

Переминаясь с ноги на ногу, Эдолф Найп разглядывал маленькие белые руки шефа, пальцы которых машинально разгибали проволоочную скрепку, постепенно превращая ее в некое подобие шпильки для волос. Ему не нравились ни эти руки, ни лицо сидевшего перед ним человека — лицо с малюсеньким ртом и тонкими фиолетовыми губами. Когда мистер Боулен говорил, двигалась одна его нижняя губа, и смотреть на это было довольно-таки противно.

— Вы чем-то обеспокоены, Найп? Что-то хотите мне сказать?

— О нет, мистер Боулен. Вам показалось.

— Как вы смотрите на то, чтобы недельку отдохнуть, а? Это пошло бы вам на пользу.

— Об этом, сэр, я что-то не задумывался.

Мистер Боулен разглядывал стоявшую перед ним тощую

долговязую фигуру. Что за странный субъект. Хоть бы он выпрямился. А то вечно горбится, неряшлив, пиджак весь в пятнах, волосы нечесаны и свисают космами на лицо.

— Мне бы хотелось, Найп, чтобы вы взяли отпуск. Вам необходимо отдохнуть.

— Хорошо, сэр, если вы настаиваете...

— Я отпущу вас на неделю. Даже на две. Поезжайте туда, где сейчас тепло. Погрейтесь на солнышке. Поплавайте. Отдохните. Выспитесь. А когда вернетесь, мы обсудим наши планы на будущее.

Эдольф Найп приехал автобусом домой, вошел в свою двухкомнатную квартиру. Бросив на диван пальто, он налил себе виски и присел к столу, на котором стояла пишущая машинка. Мистер Боулен прав. Разумеется, он прав. Хотя он и не догадывается, что происходит на самом деле. Он, видно, думает, что Найп сохнет по какой-то красотке. Когда молодой человек впадает в тоску, у всех на уме, что в этом виновата женщина.

Немного подавшись вперед, Найп принялся читать текст, отпечатанный на вставленном в машинку листе бумаги. Озаглавлен он был — «На волосок от гибели» и начинался так: «Была темная ночь. Бушевала гроза, ветер раскачивал деревья, дождь лил как из ведра...»

Эдольф Найп отхлебнул немного виски, смакуя горьковатый аромат солода; холодная жидкость тонкой струйкой побежала в желудок, постепенно теплея и согревая внутренности. Ко всем чертям мистера Боулена с его вычислительной машиной! Ко всем чертям...

И тут глаза и рот Найпа вдруг широко, словно бы от недоумения, раскрылись; он медленно поднял голову и окаменел, впевив взор в стену, и недоумение в его взгляде постепенно сменилось изумлением. Прошло сорок, пятьдесят, шестьдесят секунд, а он все смотрел в одну точку. Но вот в лице его появилось что-то новое — изумление уступило место неприкрытой радости: сперва дрогнули уголки губ, потом малопомалу смягчились черты лица, и чуть погодя оно засияло от восторга. Впервые за много месяцев Эдольф Найп улыбнулся.

— Да нет, это исключено, — вслух проговорил он и снова улыбнулся, вздернув верхнюю губу и сладострастно ощерившись. — Идея великопепная, но что толку, если ее нельзя осуществить. А раз так, то незачем забивать себе мозги.

С этой минуты Эдольф Найп не думал ни о чем другом. Идея прямо-таки заворожила его — хотя бы тем, что сулила надежду, пусть пока еще смутную, самым коварным способом отомстить его злейшим врагам. Он лениво забавлялся этой мыслью минут десять — пятнадцать, как вдруг понял, что увлекся идеей всерьез. Тогда он взял лист бумаги и произвел кое-какие предварительные расчеты. Но дальше дело засто-

порилось. Помехой оказалась старая истина: машина, как бы она ни была совершенна, не способна оригинально мыслить. Вот в чем загвоздка — мозг машины отличен от человеческого. Но с другой стороны, разве вычислительная машина не обладает памятью?

Внезапно Найпа осенила гениальная и в то же время очень простая мысль: английская грамматика подчиняется правилам, которым свойственна почти математическая точность! Дайте машине слова и тему для статьи или рассказа, и она расположит эти слова в правильном порядке.

Однако, подумал он, не все так просто, как кажется. А исключения из правил? Ну и пусть. Все равно ясно как день, что можно создать ЭВМ, способную оперировать не цифрами, а словами, которые она будет располагать в нужном порядке согласно правилам грамматики. Дайте ей глаголы, существительные, прилагательные, местоимения, и она будет строить предложения.

Найпа уже ничто не могло остановить. Он немедленно приступил к работе и трудился несколько дней, как каторжник. По всей гостиной валялись исписанные листы бумаги: формулы и расчеты, тысячи и тысячи слов, сюжеты рассказов, цитаты, мужские и женские имена, сотни фамилий, взятых из телефонной книги, всевозможные схемы и чертежи...

Работал он с упоением. Потирая руки и разговаривая вслух, он бродил по комнате среди всего этого хаоса разбросанных в беспорядке бумаг и порой, язвительно сморщив нос, разражался отборнейшей бранью и проклятиями, в которых неизменно присутствовало слово «издатель». Проработав так две недели, он сложил бумаги в две объемистые папки и помчался в компанию по производству электронного оборудования «Мистер Джон Боулен, Инкорпорейтед».

Мистер Боулен встретил его очень приветливо.

— Боже мой, Найп! Да вас узнать нельзя. Вы так посвежелы. Хорошо отдохнули? Где провели отпуск?

(Как всегда уродлив и неряшлив, подумал мистер Боулен. Такое впечатление, будто его уши раз от разу становятся все больше.)

Эдолф Найп положил папки в письменный стол.

— Взгляните-ка, мистер Боулен! — воскликнул он. — Вы только посмотрите, что я вам принес!

И он, захлебываясь, выложил мистеру Боулену свою идею. Открыв папки, он подsunул под нос изумленному толстяку чертежи. Ни на миг не умолкая, он говорил целый час, и кончив свою речь, запыхавшийся, багровый от волнения, шагнул назад, ожидая приговора.

— Знаете, что я думаю, Найп? Я думаю, что вы спятили.

Поосторожнее, одернул себя мистер Боулен. С ним пужно обращаться бережно. Этот тип для нас большая ценность.

Если бы не его лошадиная физиономия и эти огромные зубы... И уши. Ведь у него не уши, а листья ревеня.

— Что вы, мистер Боулен! Это не бред! Я же вам только что объяснил, что такую машину сконструировать несложно, и она будет работать, как миленькая. Нет, вам меня не переубедить!

— Успокойтесь, Найп. Успокойтесь и выслушайте меня.

Эдолф Найп смотрел на шефа с возрастающей неприязнью.

— Очень интересная идея, — произнесла нижняя губа мистера Боулена, — даже можно сказать, блестящая... и она лишней раз доказывает, что я не зря так высоко ценю ваши способности. Но это же не серьезно. Кому, черт побери, нужна машина, которая пишет рассказы? И какой она может принести доход? Объясните.

— Можно сесть, сэр?

— Пожалуйста.

Эдолф Найп опустил на краешек стула. Мистер Боулен настороженно вглядывался в него, с любопытством ожидая, что за этим последует.

— Мистер Боулен, если позволите, я расскажу вам, как я к этому пришел.

— Слушаю вас, Найп.

Сейчас его нужно немного умаслить, сказал себе мистер Боулен. Человек он незаурядный — в некотором роде почти гений, и для фирмы он на вес золота. Взять хотя бы эти чертежи. Тут сам черт ногу сломит. Поразительная работа. Но совершенно бесполезная. Никакой коммерческой ценности. Однако еще раз показывает, как он талантлив.

— Я открою вам все, как на духу, мистер Боулен. Надеюсь, выслушав меня, вы поймете, почему я всегда был таким... таким неуравновешенным, что ли.

— Говорите, говорите, Найп. Вы же знаете, я всегда готов вам помочь.

Молодой человек стиснул лежавшие на коленях руки и прижал локти к бокам. Словно ему вдруг стало очень холодно.

— Видите ли, мистер Боулен, если по-честному, то я работаю у вас без большого удовольствия. С работой я справляюсь неплохо, но души в нее не вкладываю. Это не мое призвание.

Брови мистера Боулена взлетели как на пружинках. Он замер.

— Дело в том, сэр, что я всю жизнь мечтал стать писателем.

— Писателем?!

— Да, мистер Боулен. Хотите верьте, хотите — нет, но все свое свободное время я трачу на то, что пишу рассказы. За последние десять лет я написал сотни, буквально сотни рассказов. А точнее — пятьсот шестьдесят шесть.

- Великий боже, Найп! Зачем вам это?
- У меня, сэр, неодолимая внутренняя потребность.
- Какая потребность?
- Потребность творить, мистер Боулен.

Всякий раз, поднимая глаза, он видел губы мистера Боулена. Они становились все тоньше и тоньше и все больше ликовали.

— Скажите, Найп, а что вы делаете со всеми этими рассказами?

— Беда в том, сэр, что их никто не покупает. Кончив рассказ, я посылаю его в разные издательства, и он кочует из одной редакции в другую. Потом мне его возвращают, и все дела. Я так исстрадался, мистер Боулен, просто сил нет.

Мистер Боулен облегченно вздохнул.

— Мой мальчик, я прекрасно понимаю ваше настроение, — сочувственно зажурчал его голос. — Все мы через это проходим — кто раньше, кто позже. Но теперь... теперь, когда вы получили доказательства... неоспоримые доказательства... заключения самих издателей, экспертов, что ваши рассказы... как бы это выразиться... что ваши рассказы не совсем удачны, пора поставить на этом крест. Забудьте об этом, мой мальчик. Просто выбросьте из головы, и все тут.

— Ни в коем случае, мистер Боулен! Нет! Я знаю, что мои рассказы хороши. Если их сравнить с той стряпней, которую печатает большинство журналов... с неудобоваримой пудной стряпней, которой эти журналы пичкают нас каждую неделю, впору сойти с ума.

— Но, мой мальчик...

— Мистер Боулен, вы читаете журналы?

— Простите, Найп, какое это имеет отношение к вашей машине?

— Самое прямое, сэр, самое прямое! Я тщательно изучил все журналы и пришел к выводу, что каждый из них, как правило, печатает только те рассказы, которые соответствуют его стилю. Писатели — преуспевающие писатели — давно это раскусили и пишут свои рассказы, учитывая требования того или иного журнала.

— Минуточку, Найп. Прошу вас, успокойтесь. По-моему, этот разговор уводит нас от главной темы.

— Ради бога, выслушайте меня до конца, мистер Боулен. Все это невероятно важно.

Найп замолчал, чтобы перевести дух. Он уже не владел собой и во всю размахивал руками. Его длинное лицо с торчавшими в стороны огромными ушами пылало восторгом, а вслед за каждым словом изо рта летели брызги слюны.

— Поймите, с помощью моей машины я простым нажатием кнопки смогу по желанию создать рассказ в стиле любого журнала. Литературный рынок очень ограничен. Стоит нам

только захотеть, и мы мигом изготовим нужное произведение, причем именно тогда, когда на него есть спрос. Это же настоящий бизнес, мистер Боулен. Если смотреть на мою затею с ваших позиций, сэр, это коммерческое предприятие.

— Дорогой мой, вряд ли это сможет стать коммерческим предприятием. Вы не хуже меня знаете, каких денег стоит строительство такой машины.

— Да, сэр, знаю. Но при всем моем к вам уважении я все-таки думаю, что вы не представляете, сколько платят журналы за рассказы.

— Сколько же?

— Любые суммы — вплоть до двух с половиной тысяч долларов. В среднем около тысячи.

Мистер Боулен подскочил.

— Чуть, Найп! Не может быть!

— Провалиться мне на этом месте, сэр!

— Вы хотите, чтобы я поверил, будто журналы платят писателям такие деньги только за... только за то, что они сидят и кропают свои рассказы? Черт возьми, Найп! Если это правда, то все писатели — миллионеры!

— Вы угадали, мистер Боулен! Вот тут-то нам и может пригодиться машина. Минутку внимания, сэр, и я расскажу вам кое-что еще. Уж я-то на этом собаку съел. Так вот, в каждом номере больше журналы обычно печатают три рассказа. Теперь возьмите пятнадцать самых солидных журналов — я имею в виду журналы с высокими гонорарами. Часть их — схемесячники, но большинство выходит каждую неделю. Таким образом, каждую неделю они приобретают около сорока рассказов на сумму в сорок тысяч долларов. А с помощью нашей машины мы сможем прибрать к рукам почти весь этот рынок!

— Мой дорогой мальчик, вы явно не в себе!

— Ей-богу, сэр, все, что я сейчас сказал, — чистая правда. Разве вы не понимаете, что мы раздавим своих конкурентов одним только количеством продукции? Моя машина за тридцать секунд сможет изготовить рассказ на пять тысяч слов, уже отпечатанный на машинке и готовый к отправке в редакцию. Как могут соперничать с ней писатели? Я вас спрашиваю, как?

Тут Эдолф Найп заметил, что в выражении лица мистера Боулена произошла едва уловимая перемена: ярче заблестели глаза, слегка раздулись щеки, лицо застыло, даже несколько напряглось.

И он поспешил продолжить: — В наше время, мистер Боулен, кустарные изделия не имеют никакой перспективы. Вам хорошо известно, что ручные поделки не могут соперничать с изделиями массового производства, особенно у нас в стране. Ковры... обувь... стулья... кирпичи... — за что ни возь-

мись, все теперь изготавливается машинами. Качество, может, и похуже, но что с того? Ведь в расчет принимается только стоимость продукции. А рассказы... так это же всего-навсего еще один вид продукции, вроде ковров и стульев, и никого не интересует, как вы их изготавливаете, коль скоро вы поставляете товар. Мы будем продавать их оптом, мистер Боулен! Мы пустим по миру всех писателей страны, продавая рассказы по заниженным ценам. Мы завладеем рынком!

— И все-таки мне кажется, Найп, что это невыгодно.

— Сорок тысяч в неделю! — взвизгнул Найп. — А на худой конец, если только половина — двадцать тысяч в неделю — это же миллион в год! — И вкрадчиво добавил: — Скажите, мистер Боулен, строительство вычислительной машины старого образца будет приносить вам по миллиону в год, а?

— Поговорим серьезно, Найп. Вы в самом деле считаете, что эти рассказы найдут покупателей?

— Ну подумайте, мистер Боулен, кому, черт побери, нужны рассказы, написанные старым способом, когда можно за полцены приобрести другие?

— А как вы собираетесь их продавать? Кто будет их автором?

— Мы откроем литературное агентство, которое будет рассылать рассказы по издательствам. А подписывать их мы будем любыми именами, по собственному вкусу и желанию.

— Мне это не нравится, Найп. По-моему, это пахнет мошенничеством.

— Хочу еще добавить, мистер Боулен, что стоит нам только начать, и мы сможем выпускать самую разнообразную побочную продукцию. Взять к примеру рекламу. В наше время фабриканты пива и многие другие предприниматели с удовольствием раскошелятся, если известный писатель позволит ставить свое имя под рекламой их товаров. Мистер Боулен, мы с вами толкуем не о детских игрушках. Это большой бизнес.

— Вы слишком честолюбивы, мой мальчик.

— Кстати, мистер Боулен, если у вас появится желание, нам ничто не помешает подписывать вашим именем некоторые из наиболее удачных рассказов.

— Великий боже, Найп! Это еще зачем?

— Так ведь есть писатели, сэр, которые пользуются большим уважением. Чем плохо, если мы с вами прославимся на литературном поприще? Что до меня, сэр, то я обязательно поставлю свое имя под одним-двумя рассказами — так сказать, для почина.

— Значит, вы предлагаете мне стать писателем? — задумчиво проговорил мистер Боулен. — У меня в клубе все разипут рты, когда увидят мое имя в журналах — в солидных журналах.

— Еще бы!

В глазах мистера Боулена появилось мечтательное выражение, и он даже слегка улыбнулся, но тут же спохватился и принялся листать чертежи.

— Мне не совсем понятно, Найп, откуда берутся сюжеты. Вряд ли их способна придумывать сама машина.

— А мы их в нее вложим. Ведь сюжетов хоть пруд пруди. Вот в той папке, слева от вас, собрано четыреста готовых сюжетов. Ими мы зарядим ячейки «сюжетной памяти».

— Продолжайте.

— Помимо всего прочего, мистер Боулен, я еще учел кое-какие специфические тонкости литературного творчества. К примеру, почти все писатели проделывают некий простой фокус — в каждый рассказ они вставляют, как минимум, одно длинное и не очень понятное слово. Это убеждает читателя в том, что писатель — человек умный и просвещенный. Работая над проектом, я предусмотрел эту особенность — машина будет иметь необходимый запас таких слов.

Остаток дня они посвятили обсуждению технических деталей.

Прощаясь с Найпом, мистер Боулен сказал, что ему нужно все как следует продумать. На следующее утро он был сдержан, но интереса к машине не утратил. Через неделю идея захватила его полностью.

И спустя полгода машина была готова. Ее установили в кирпичном флигеле позади главного корпуса фирмы, и доступ к ней всем, кроме мистера Боулена и Эдолфа Найпа, был запрещен.

Какой это был незабываемый миг, когда двое мужчин — один низкорослый, толстый и коротконогий, другой — высокий, тощий, с лошадиными зубами — подошли к пульту управления, чтобы произвести на свет первый рассказ. Оба очень волновались. Мистер Боулен суетился и то и дело от нетерпения подпрыгивал.

— Какую нажмем кнопку? — спросил Эдолф Найп, окидывая взглядом длинный ряд маленьких белых дисков, похожих на клавиши пишущей машинки. — Выбирайте, мистер Боулен. К вашим услугам уйма журналов: «Сетердей Ивнинг Пост», «Кольерс», «Дамский журнал»... Слово за вами.

— О, господи! Да откуда ж мне знать?

Он так вертелся, точно его терзала крапивница.

— Мистер Боулен, — торжественно возгласил Найп, — вы знаете, что одно лишь движение мизинца может за какую-нибудь минуту сделать вас самым разносторонним писателем континента?

— Умоляю вас, Найп, давайте начнем... Хватит болтать.

— Хорошо, мистер Боулен. Итак... Какую же мы нажмем? Ага, вот эту.

Он протянул руку и нажал кнопку, на которой мелкими черными буквами было написано: «Современная женщина».

— Выбор сделан,— объявил Найп.— А теперь пойдем дальше.

Он потянул на себя рычаг выключателя. В тот же миг помещение заполнилось громким жужжанием и треском электрических искр, и почти сразу же из отверстия справа от пульта управления стали выскальзывать и падать в корзину листы бумаги. Они сыпались со скоростью один лист в секунду, и через полминуты этот поток иссяк. Из отверстия больше не выпало ни одного листа.

— Дело сделано! — вскричал Найп.— Вот ваш рассказ!

Они схватили пачку листов и начали читать. Текст на первом начинался так: «Аурлшвыгляпрумитсклысклахлуимткулы?овш». Пробежав глазами остальные страницы, они обнаружили, что на всех было написано примерно то же самое. Мистер Боулен разбушевался. Молодой человек попытался его успокоить.

— Ничего страшного, сэр. Клянусь вам! Машину нужно немного подрегулировать. Наверно, барахлит какой-то контакт, только и всего. Не забывайте, что в этом помещении более миллиона футов провода. Неужто вы думали, что первое испытание пройдет гладко?

— Ваша машина никуда не годится. Она не будет работать,— заявил мистер Боулен.

— Терпение, сэр. Немного терпения.

Эдолф Найп занялся поисками неисправности и через четыре дня сообщил, что машина готова для нового испытания.

— Она никуда не годится,— заявил мистер Боулен.— Вот увидите, у нас ничего не получится.

Найп улыбнулся и нажал кнопку с надписью «Ридерс Дайджест»¹. Потом он щелкнул выключателем, снова послышалось характерное жужжание. Из отверстия выскользнул один лист.

— А где же остальные? — завопил мистер Боулен.— Машина остановилась! Она испортилась окончательно!

— Нет, сэр, вы ошибаетесь. Все идет, как надо. Разве вы не понимаете, в чем дело? Это же рассказ для «Дайджест»!

Вынув из корзины листок, они прочли на нем следующее: «Немногимизвестночтооткрытоновоеотрясающеелекарство котороеоблегчитучастьтехктострадаетотсамойужаснойболезнинашеговремени...» И так до конца страницы.

— Это бессмыслица! — вскричал мистер Боулен.

1

«Ридерс Дайджест» — журнал, дающий краткий, очень упрощенный пересказ литературных произведений, «развлекательное» чтение.

— Что вы, сэр, это великолепно. Вы разве не видите, машина просто-напросто не делает между словами интервалов. Чепуховая неполадка, я ее в два счета исправлю. А рассказ получился. Вагляните-ка, мистер Боулен! Вот он, рассказ,— только все слова слились.

И рассказ действительно получился.

Следующее испытание машины уже прошло как по маслу. Даже знаки препинания, и те стояли на своих местах. Первый рассказ, который предназначался для популярного дамского журнала, был полноценным содержательным произведением. В нем повествовалось о некоем молодом человеке, возмечтавшем завоевать расположение своего богатого шефа. Чтобы достичь цели, этот молодой человек просит приятеля выйти с пистолетом в руке на шоссе и остановить машину, в которой дочь миллионера поздним вечером возвращается из гостей домой. Герой рассказа, «случайно» оказавшийся поблизости, обезоруживает своего приятеля и «спасает» хозяйскую дочь. Девушка преисполнена благодарности, но папашу провести не так-то легко. Он сурово допрашивает молодого человека. Тот не выдерживает и во всем сознается. И тогда отец девушки, вместо того чтобы вышвырнуть его вон, приходит в восхищение от его честности... и внешности. Он обещает молодому человеку место старшего бухгалтера. Девушка выходит за него замуж.

— Прелестно, мистер Боулен! Это как раз то, что нужно.

— Мой мальчик, мне кажется, что рассказ написан перьяшляво.

— Да будет вам, сэр! Это же товар, настоящий товар!

Эдолф Найп, воодушевившись, за шесть минут состряпал еще шесть рассказов. И за исключением одного, который почему-то получился крайне непристойным, все они оказались вполне пригодными.

После этого мистер Боулен наконец смягчился. Он согласился открыть литературное агентство и назначил Найпа его директором. Через две недели это агентство уже действовало, и Найп разослал по редакциям журналов первую дюжину рассказов. Под четырьмя он поставил свое имя, один подписал именем мистера Боулена, остальные — вымышленными именами.

Пять из них были сразу же приняты. А рассказ, автором которого значился мистер Боулен, вернули назад, приложив к нему письмо редактора отдела художественной прозы. «Рассказ сделан профессионально,— писал редактор,— но, по моему мнению, он несколько недоработан. Нам было бы интересно ознакомиться с другими произведениями этого автора». Эдолф Найп, схватив такси, помчался к машине и в мгновение ока изготовил для того же журнала еще один рассказ. Он спо-

ва поставил под ним имя мистера Боулена и немедленно отослал его в редакцию. Этот рассказ купили.

Со всех сторон на них посыпались деньги. Найп медленно и осторожно повышал выпуск продукции — через полгода он уже рассылал по редакциям тридцать рассказов в неделю и около половины их удавалось сбыть.

Он начал приобретать известность в литературных кругах как талантливый и плодовитый писатель. То же происходило и с мистером Боуленом; впрочем, его имя пользовалось чуть меньшей популярностью, о чем он, естественно, не догадывался. Одновременно Найп ввел в дело этак с дюжину вымышленных личностей, которые выступали в роли многообещающих молодых авторов. Предприятие процветало.

Именно тогда и было решено усовершенствовать машину с таким расчетом, чтобы она изготовляла не только рассказы, но и романы. Мистер Боулен, который рвался к славе, настаивал, чтобы Найп немедленно приступил к выполнению этой грандиозной задачи.

— Я хочу написать роман, — твердил он. — Я хочу написать роман!

— И вы его напишете, сэр. Напишите. Только наберитесь терпения. Мне предстоит очень сложная работа.

— Все говорят, что я обязан написать роман! — надрывался мистер Боулен. — Издатели не дают мне покоя ни днем, ни ночью, умоляют, чтобы я перестал размениваться на рассказы и наконец создал фундаментальное произведение. По их словам, истинную ценность имеют только романы.

— Мы оба будем писать романы, — заверил его Найп. — В любом количестве, сколько душе угодно.

— Поймите, Найп, я намерен написать не развлекательный роман, а такой, который заставит всех призадуматься. Честно говоря, меня уже мутит от рассказов, которые вы подписываете моим именем. Между прочим, я далеко не уверен, что вы меня не обжуливаете.

— Обжуливаю?!

— Вы же оставляете себе самые лучшие рассказы!

— О нет, мистер Боулен! Вы ошибаетесь!

— Так вот, зарубите себе на носу, на этот раз я должен создать произведение высокого класса. Надеюсь, вы меня поняли.

— Уверю вас, мистер Боулен, с помощью распределительного щита, который я сейчас монтирую, вы сможете написать любой роман.

Это была правда — месяца через два гений Эдолфа Найпа не только приспособил машину для романов, но еще и создал новую систему регулировки, благодаря которой автор мог заранее выбрать по вкусу сюжет и литературный жанр будущего романа. Машина обросла таким неимоверным количеством

кнопок и рычагов, что по виду напоминала теперь пульт управления межконтинентального лайнера.

Нажав одну из кнопок первого ряда, автор делал главный выбор: роман исторический, сатирический, философский, политический, юмористический, любовный, бытовой. Затем, перейдя ко второму ряду кнопок, он выбирал тему: война локальная, гражданская, мировая; жизнь первых поселенцев, расовая проблема, освоение Дальнего Запада, сельская жизнь, воспоминания детства и т. д. Нажатие кнопки третьего ряда определяло литературный стиль: классический, эксцентричный, народный, под Хемингуэя, под Фолкнера, под Джойса, дамский и пр.

Кнопки четвертого ряда помогали выбрать героев, пятого — лексикон, и так далее и так далее — таких рядов было десять. Но это еще не все. Пока новая машина изготавливала роман — а на это уходило минут пятнадцать — автор, сидя в специальном кресле, должен был, как заправский органист, манипулировать несметным количеством клавиш, кнопок и рычагов. Это давало ему возможность усиливать или приглушать пятьдесят различных оттенков повествования — юмор, пафос, трагизм, грусть, таинственность...

Кроме того, была учтена такая немаловажная деталь, как «страсть». Внимательно проштудировав романы, названиями которых начинался список бестселлеров за миновавший год, Эдольф Найп пришел к выводу, что «страсть» является волшебным катализатором, приносящим скучнейшему роману огромный успех — во всяком случае, с финансовой точки зрения. Но Найп понял и то, что страсть была сильнодействующим средством, и ее следовало вводить в роман с осторожностью — в точно отмеренных дозах и к месту. И чтобы обеспечить это, он изобрел к машине приставку, которая приводилась в действие двумя ножными педалями, похожими на педаль сцепления и тормозную педаль автомобиля. Нажав на одну из педалей, автор отмерял количество впрыскиваемой в роман страсти, нажав на другую — регулировал ее интенсивность. Таким образом, процесс изготовления романа по методу Найпа одновременно смахивал на управление самолетом, вождение автомашины и игру на органе, что было единственным недостатком этого метода. Но изобретателя подобная мелочь нисколько не смущала. Когда все было готово, он с гордостью пригласил мистера Боулена во флигель, где стояла машина, и объяснил ему процедуру создания романа.

— Боже мой, Найп! Я никогда этому не научусь! Пропадает оно все пропадом, ведь куда легче написать его вручную!

— Обещаю вам, мистер Боулен, что вы скоро к этому принаоровитесь. Через одну-две недели вы будете проделывать все, почти не задумываясь. Это так же просто, как научиться водить машину.

Но это, конечно, оказалось посложней. Однако, попрактиковавшись часок-другой, мистер Боулен начал приобретать некоторую сноровку, а к ночи он уже попросил Найпа помочь ему приступить к изготовлению первого романа.

— Найп, я хочу написать роман серьезный, а не какой-нибудь там...

И мистер Боулен осторожно нажал кнопки.

Жанр — роман-сатира.

Тема — расовая проблема.

Стиль — классический.

Герои — шесть мужчин, четыре женщины, один ребенок.

Количество глав — пятнадцать.

Взгляд же его тем временем был прикован к трем органам клавишам, на которых стояло: остросюжетность, загадочность, глубокомыслие.

— Вы готовы, сэр?

— Да, да, готов.

Найп щелкнул выключателем. Раздалось мощное гудение и резкий стук электрической пишущей машинки. В корзину стали падать листы с текстом, по одному каждые две секунды. Одурев от всего этого шума, мистер Боулен, который должен был непрерывно нажимать на клавиши и кнопки, следить за счетчиком глав, показаниями спидометра и регулировать количество и интенсивность страсти, совершенно растерялся. И повел себя, как человек, впервые севший за руль автомобиля, — он нажал ногами на обе педали и не отпускал их до тех пор, пока машина не выдала последний лист.

— Поздравляю с вашим первым романом, — сказал Найп, вынимая из корзины пухлую пачку страниц.

На лице мистера Боулена блеснули мельчайшие капельки пота.

— Нелегкая это работа, мой мальчик.

— Но вы с ней справились, сэр. Вы с ней справились.

— Покажите-ка, Найп, что там получилось.

Он начал читать первую главу, передавая уже прочитанные страницы Найпу.

— Великий боже, Найп! Это еще что такое?

Тонкая фиолетовая губа мистера Боулена слегка шевелилась, пережевывая слова, щеки его стали медленно раздуваться.

— Взгляните вот сюда, Найп! Это же черт знает что!

— Я бы сказал, сэр, что это написано весьма откровенно.

— Откровенно! Это омерзительно! Я не поставлю свою подпись под таким текстом!

— Вы правы, сэр. Вы совершенно правы.

— Найп! Вы видно, решили надо мной посмеяться!

— О, нет, сэр! Что вы!

— А похоже на то.

— Не кажется ли вам, мистер Боулен, что вы слишком сильно нажимали на педаль регулятора страсти? Попробуйте-ка еще разок, а?

И мистер Боулен создал второй роман, который уже соответствовал замыслу.

Издатель прочел рукопись на этой же педеле, дал восторженный отзыв, и она была принята. Следующий роман Найп подписал своим именем, а потом, недолго думая, изготовил еще дюжину. Литературное агентство Эдольфа Найпа мгновенно прославилось богатой коллекцией молодых многообещающих писателей. И снова отовсюду потекли деньги.

Вот тут у Найпа и проявился истинный талант к большому бизнесу.

— Мистер Боулен, — однажды сказал он, — в этой стране у нас еще слишком много конкурентов. Почему бы нашему агентству не поглотить всех остальных писателей — сделать так, чтобы они больше не написали ни строчки?

Мистера Боулена, который теперь щеголял в бархатной куртке бутылочного цвета и позволил своей шевелюре прикрыть две трети ушей, нынешнее положение дел вполне устраивало.

— Что вы имеете в виду, мой мальчик? Нельзя же вдруг, здорово живешь, запретить им писать.

— Можно, сэр. Вспомните, как Рокфеллер разделался с нефтяными компаниями. Писателей нужно купить, а если они почему-либо откажутся заключить такую сделку, как следует прижать их и вынудить к этому. Все очень просто!

— Берегитесь, Найп! Не зарывайтесь!

— У меня, сэр, имеется список пятидесяти самых преуспевающих писателей, и я собираюсь предложить каждому из них пожизненный контракт и деньги. Они должны только пообещать, что с момента подписания контракта больше в жизни не возьмутся за перо, и пусть разрешат подписывать их именами нашу продукцию. Что вы на это скажете?

— Они никогда не согласятся.

— Вы, мистер Боулен, не знаете писателей. Дайте мне время, и я докажу вам, кто из нас прав.

— А как насчет потребности творить?

— Пустые слова! На самом деле их по-настоящему интересуют только деньги.

В конце концов мистер Боулен неохотно уступил, и Найп, прихватив с собой список писателей, сел в большой «кадиллак» с шофером за рулем и отправился делать визиты.

Вначале он поехал к человеку, чье имя стояло в списке на первом месте, — к очень талантливому и очень известному писателю и беспрепятственно проник в его кабинет. Найп все объяснил ему, предложил ознакомиться с содержимым своего портфеля, битком набитого образцами романов, и дал прочи-

тать контракт с указанием суммы, которую фирма обязывалась выплачивать автору пожизненно. Писатель вежливо выслушал его и, решив, что имеет дело с душевнобольным, угостил Найпа виски и выпроводил его за дверь.

Второй по списку писатель, поняв, что Найп в здравом уме и говорит вполне серьезно, запустил в него тяжелым металлическим пресс-папье, и изобретатель пуль вылетел из его дома, подгоняемый такими ругательствами, которых ему еще не приходилось слышать.

Однако Эдолф Найп был не из тех, кого могли обескуражить подобные мелочи. Он был слегка разочарован, но не пал духом и поехал в своей шикарной машине к следующему клиенту. Это была женщина, знаменитая и всеми уважаемая писательница, чувствительные романы которой печатались миллионными тиражами и раскупались в стране нарасхват. Она приняла Найпа очень любезно, угостила чаем и внимательно выслушала его предложение.

— Какая прелесть, — сказала она. — Просто не верится, что это правда.

— Мадам! — воскликнул Найп. — Поедемте со мной и увидите все своими собственными глазами. Мой «кадиллак» к вашим услугам.

Они поехали, и Найп провел изумленную леди в здание, где стояла чудо-машина. Он с воодушевлением принялся объяснять принципы ее устройства, а потом даже разрешил писательнице сесть в кресло и поупражняться с кнопками.

— Прекрасно, — внезапно произнес он. — Хотите сейчас, не сходя с места, написать роман?

— О да! — воскликнула она. — Конечно!

Дама оказалась очень сообразительной и, судя по всему, отлично знала, что ей нужно. Она сама выбрала жанр, стиль и т. д. и изготовила душещипательный, полный страсти роман. Прочтя первую главу, она пришла в такое восхищение, что немедленно подписала контракт.

— С одним конкурентом мы разделились, — сказал позже Найп мистеру Боулену. — И довольно опасным.

— Великолепная работа, мой мальчик.

— А знаете, почему она подписала контракт?

— Почему?

— Деньги тут ни при чем. У нее их навалом.

— Тогда почему же?

Наип улыбнулся. Верхняя губа его вздернулась, обнажив бледные десны.

— Она поняла, что наша машинная продукция лучше ее собственной.

После этого Найп принял мудрое решение заниматься только писателями-середняками. Опыт показал, что тех, кто обладает настоящим талантом (а их было так мало, что они

не вызывали особого беспокойства), соблазнить довольно трудно.

Через несколько месяцев ему удалось получить подписи около семидесяти процентов писателей, стоявших в его списке. Найп убедился, что проще всего найти общий язык с писателями постарше, с теми, у кого начала иссякать фантазия и появилось пристрастие к спиртным напиткам. С молодыми писателями хлопот было больше. Когда он обращался к ним, они подчас осыпали его бранью, а иной раз даже прибегали к насилию, и бывало, что во время визитов к ним Найп получал легкие телесные повреждения.

И тем не менее он добился значительных успехов. Подсчитано, что по крайней мере половина всех романов и рассказов, опубликованных на английском языке за этот год — первый год работы машины, — создана Эдолфом Найпом с помощью Чудесного грамматизатора.

Для вас это новость?

Едва ли.

А будет и того хуже. Слухи о новой машине передаются из уст в уста, и сейчас все больше писателей спешат примкнуть к Эдолфу Найпу. И все туже сжимается петля на горле тех, кто не решается подписать контракт.

В эту самую минуту из соседней комнаты доносится плач моих умирающих от голода детей, и я чувствую, как моя рука ближе и ближе подбирается к этому золотому контракту, который лежит на другом конце письменного стола.

О господи, дай силы обречь наших детей на голодную смерть.



ОТЕЧЕСТВО



О'ГЕНРИ
O. Henry
(псевдоним Уильяма Сиднея Портера)
1862—1910

Знаменитый американский новеллист.
Родился в городке Гринсборо,
в штате Северная Каролина,
работать начал с пятнадцати лет,
сменил много профессий.
Рассказы О'Генри и по сей день
сохраняют огромную популярность у читателей;
они многократно издавались
у нас в стране.

ЖЕРТВА НЕВПОПАД

У редактора журнала «Домашний очаг» особая система отбора рукописей для печати. Свою теорию он не держит в секрете, напротив, охотно развивает ее перед вами, сидя за столом красного дерева, благосклонно улыбаясь и легонько постукивая себя по коленке очками в золотой оправе.

— Наш журнал не нуждается в штатных рецензентах,— говорит он.— Мы получаем отзывы о поступающих к нам рукописях непосредственно от наших читателей, принадлежащих к самым различным кругам.

Такова теория нашего редактора; а вот как остроумно он осуществляет ее на практике.

Получив очередную пачку рукописей, он рассовывает их по карманам и за день на ходу раздает. Служащие в редакции, дворник, швейцар, лифтер, мальчишки-рассылные, официанты в кафе, где наш редактор закусывает среди дня, продавец в киоске, где он покупает вечернюю газету, бакалейщик и хозяин молочной, кондуктор надземки, которая в 5. 30 утра везет его в город, и контролер на станции Шестьдесят такой-то улицы, кухарка и горничная у него дома — вот рецензенты, на чей суд он отдает рукописи, присланные в журнал. А если к тому времени, когда он возвращается в лоно семьи, карманы его не совсем опустели, остатки вручаются жене, чтобы прочла, когда малыш уснет. Через несколько дней редактор, совершая обычный свой путь, собирает рукописи и знакомится с приговором своих разномастных рецензентов.

Этот способ отбора материала оказался весьма успешным, и число подписчиков, судя по притоку объявлений, растет с несдыханной быстротой.

Издательство «Домашний очаг» выпускает также и книги, и его марка стоит на нескольких произведениях, пользующихся большим успехом, причем все они, по словам редактора, были одобрены армией добровольных рецензентов. Бывали, правда, случаи (если верить иным разговорчивым служащим), когда издательство, доверясь мнению этих разношерстных рецензентов, упускало рукописи, — а потом они выходили в других издательствах и имели шумный успех.

Так, например (уверяют сплетники), роман «Взлет и падение Сайласа Лэтама» не был одобрен лифтером; рассыльные единодушно отвергли «Хозяина»; кондуктор трамвая пренебрежительно отозвался о «Карете епископа»; «Избавление» забраковал служаший отдела подписки, в доме которого на ближайшие два месяца поселилась его теща; дворник, возвращая «Причуды королевы», сказал про автора: «Ну и учудил!»

И однако «Домашний очаг» остается верен своей теории и своей системе, и у него никогда не будет недостатка в добровольных рецензентах; ибо все они, от юной стенографистки в редакции до истопника в подвале (его неодобрительный отзыв лишил издательство «Домашний очаг» рукописи «Ада крошечного»), падеются рано или поздно занять пост главного редактора.

Порядки «Домашнего очага» были хорошо известны Аллену Слейтону, когда он писал свою повесть «Любовь превыше всего». Слейтон постоянно околачивался в редакциях всех журналов, сколько их было в Нью-Йорке, и досконально изучил их внутреннюю механику.

Он знал не только о том, что редактор «Домашнего очага» раздает рукописи на отзыв самым разным людям, — он знал также, что чувствительно-романтические истории попадают в руки стенографистки мисс Пафкин. У редактора был еще один своеобразный прием: он неизменно скрывал от рецензентов

имена авторов, чтобы какое-нибудь громкое имя не помешало беспристрастно оценить рукопись.

Повесть «Любовь превыше всего» была любимым детищем Слейтона. Полгода он трудился над нею, вложил в нее лучшие силы ума и сердца. Вся она, от первого до последнего слова, была посвящена любви — чистой, возвышенной, романтической, пылкой, поистине поэма в прозе, которая превозносила божественный дар любви (цитирую по рукописи) превыше всех земных благ и почестей и отводила ей место среди прекраснейших наград, какие могут ниспослать человеку небеса. Авторское тщеславие Слейтона не знало границ. Он готов был пожертвовать всем на свете, лишь бы прославиться на избранном поприще. Кажется, он готов был отрубить себе правую руку или отдаться во власть коллекционера аппендиксов, лишь бы сбылась его заветная мечта: увидеть хоть одно свое детище напечатанным на страницах «Домашнего очага».

Слейтон закончил повесть «Любовь превыше всего» и самолично отнес ее в «Домашний очаг». Редакция журнала помещалась, среди многих других контор и учреждений, в большом доме, где высшая власть находилась в самом низу, в руках дворника.

Едва Слейтон переступил порог и направился к лифту, через вестибюль пролетела мясорубка, сбила с писателя шляпу и угодила в стеклянную дверь, так что брызнули осколки. Вслед за этим предметом кухонной утвари вылетел дворник — нескладный и неприглядный увалень, встрепанный, без подтяжек, перепуганный и запыхавшийся. Далее за метательным снарядом последовала перьяшлия толстуха с развевающимися волосами. Дворник поскользнулся на кафельном полу и с воплем отчаяния рухнул. Женщина набросилась на него и вцепилась ему в волосы. Он истошно взвыл.

Отведя немного душу, разъяренная фурия

выпрямилась и торжествуя, точно Минерва, прошествовала куда-то в таинственные недра семейного гнездышка. Дворник, пыхтя от перенесенной встряски и унижения, поднялся на ноги.

— Вот вам и женатая жизнь, — с горькой усмешкой сказал он Слейтону. — А я когда-то ночей не спал, все про нее думал. Не взыщете, сэр, шляпе вашей досталось. Вы уж не рассказывайте тут никому, ладно? Неохота мне место терять.

Слейтон прошагал к лифту и поднялся в редакцию «Домашнего очага». Он отдал рукопись редактору, и тот обещал через неделю ответить, пригодна ли «Любовь превыше всего» к печати.

Спускаясь в лифте, Слейтон составил план военных действий. То было мгновенное озарение, и он не мог не возгордиться тем, что у него родилась такая гениальная мысль. В тот же вечер он приступил к исполнению своего грандиозного плана.

Мисс Пафкин, стенографистка журнала «Домашний очаг», жила в тех же меблированных комнатах, что и наш писатель. Это была сухопарая, замкнутая, вялая и сентиментальная стареющая дева; незадолго перед тем Слейтона с нею познакомили.

Вот в чем заключался дерзкий и самоотверженный замысел писателя: он знал, что редактор «Домашнего очага» всецело полагается на суждение мисс Пафкин о рукописях на темы чувствительно-романтические. Ее вкус в точности соответствовал вкусам великого множества самых заурядных женщин, которые жадно поглощают романы и рассказы такого сорта. Смысл и суть повести Слейтона составляла любовь с первого взгляда — упоительное, неодолимое, потрясающее чувство, которое заставляет мужчину или женщину узнать избранницу или избранника мгновенно, едва сердце отзовется сердцу. Что если он сам попробует внушить мисс Пафкин эту божественную истину? Уж наверно она,

проникшись новыми для нее восхитительными ощущениями, горячо порекомендует редактору напечатать повесть «Любовь превыше всего».

Так думал Слейтон. И в тот же вечер повел мисс Пафкин в театр. На другой вечер в полутемной гостиной меблированных комнат он пылко объяснился ей в любви. Он так и сыпал цитатами из своей повести, и под конец голова мисс Пафкин склонилась ему на плечо, у него же в голове носились видения писательских лавров.

Но Слейтон не ограничился объяснениями в любви. Это решающая минута в его жизни, сказал он себе, и, как истинный спортсмен, «всем пожертвовал ради победы». В четверг они с мисс Пафкин обвенчались.

Отважный Слейтон! Шатобриан кончил свои дни на чердаке, Байрон ухаживал за вдовой, Китс умер с голоду, Эдгар По слишком много пил, Де Квинси курил опиум, Эйд поселился в Чикаго, Джеймс гнул свою линию, Диккенс носил белые носки, а Мопассан смиренную рубашку, Том Уотсон стал популистом, пророк Иеремия плакал, — и все это ради литературы, но ты превзошел их всех: дабы пробиться на Олимп, ты взял себе жену!

В пятницу утром миссис Слейтон собралась в редакцию: ей надо возвратить рукописи, которые редактор дал ей на отзыв, сказала она, и отказаться от места стенографистки.

— Есть там... э-э... среди рассказов, которые ты возвращаешь... что-нибудь такое, что тебе особенно понравилось? — с бьющимся сердцем спросил Слейтон.

— Да, одна повесть... она мне очень по душе, — отвечала жена. — Я уже сколько лет ничего подобного не читала, это так мило и правдиво, просто сама жизнь.

Среди дня Слейтон помчался в редакцию «Домашнего очага». Он чувствовал, что желанная награда уже у него в руках. Если

его повесть напечатают в «Домашнем очаге», завтра его ждет слава.

У барьера в приемной его остановил рассыльный. Неудачливым авторам весьма редко доводится беседовать с самим главным редактором.

Втайне ликуя, Слейтон лелеял в душе сладостную надежду: сейчас его блестящий успех сокрушит этого мальчишку!

Он осведомился о своей повести. Рассыльный вошел в святилище и вынес оттуда большой пухлый конверт, словно набитый тысячью чеков.

— Хозяин велел сказать, что сожалеет, а только для нашего журнала ваша рукопись неподходящая.

Слейтон был ошеломлен.

— Скажите,— заикаясь вымолвил он,— что, мисс Паф... то есть моя... мисс Пафкин... вернула сегодня повесть, которую ей давали читать?

— А как же,— отвечал всезнающий рассыльный.— Я сам слышал, старик сказал, мисс Пафкин говорит, повесть первый сорт. Называется «Богатый жених, или Торжество скромной труженицы»... Послушайте,— доверительно продолжал рассыльный,— вас звать Слейтон, верно? Похоже, я тут вам ненароком напутал. Хозяин мне давеча велел раздать рукописи, а я спутал, которые для мисс Пафкин, а которые для дворника. Но я так думаю, это не беда.

Тут Слейтон присмотрелся и на обложке своей рукописи, под заголовком «Любовь превыше всего», увидел пацарапаный кусок угля приговор дворника:

«Ври больше!»



**СИГИЗМУНД
РАДЕЦКИ**



Сигизмунд Радеcki
Sigismund von Radecki
1891—1970

Австрийский новеллист, переводчик, эссеист.
Современники считали его блестящим стилистом,
творчество которого пронизано остроумием
и подкупающей добротой.
В нашей стране публикуется впервые.

УШЕДШИЕ ТВОРЕНИЯ

Бывает такой возраст, когда охотнее танцуешь, чем ходишь, а стихи — разве это не танцующие слова? В восемнадцать лет я упивался ими, как вином, прочел всего Гофманшталя, знал на память Рильке, и, студентом-первокурсником впервые приехав в Германию, вслушивался в новые лирические звуки, странным образом овладевшие мной.

И в те дни, дни тягостного предчувствия ужасной войны, стоявшей у дверей, — было это в 1911 году — я взял в руки перо и написал:

Проклятье! Сипий ветер будит согбенные
Черные, как скелеты мамонтов, остовы домов,
Зло глядящие перед собой желтыми глазищами
пожара.

Проклятье! Гудят гигантские кифары,
Дрожат все звезды в небе, а поезда,
Рева от ярости, уходят в темень.
Проклятье! Нельзя нам жить, нельзя сберечь
себя для жизни.

Одно лишь остается нам, беднягам, —
Жить в светлой, мирной керосинной лампе.

Здорово, а? Да, тогда писали такие вот стихи. Очень довольный, не показав этого стихотворения никому, я положил его в конверт и отослал в один из ведущих по тем временам журналов. Это было мое первое стихотворение; я и в мыслях не имел сделаться писателем. Послал я стихи больше из любопытства, ибо в таком возрасте хочется испробовать все, в том числе и увидеть свое имя в печати. Ответа я не получил, да в общем-то и не очень его ждал, по-прежнему пропускал занятия, бегал на лыжах и танцевал.

Потом меня, горного инженера, отправили в Центральную Азию, затем — первая мировая война, революция в России, короче говоря — много всего, пока я снова вернулся в Германию, где был то инженером-электриком, то актером, то переводчиком и в конце концов сделался — к собственному удивлению — писателем. Да, таковы окольные дорожки судьбы. Поскольку все остальное мне наскучило, я принялся писать эссе; по природе я ле-

нив, и из-под пера моего выходили одни домотканые литературные заплатки. Подумать только, какая роскошь — никакой тебе конторы, никакого начальства, никаких «от сих — до сих», все наоборот: сидишь себе в удобном халате, пишешь в свое удовольствие, да и получаешь за это деньги, так что хватает даже на путешествия! (Позже меня поразило, что за это некоторые тебя в какой-то мере уважают — нет, это и впрямь чересчур.) И вот случилось так, что в 1931 году я сидел со своим знакомым в отеле «Кемпински» и за ужином познакомился с одним композитором из Праги. Услышав мое имя, он спросил:

— Простите, господин Радецкий, не вы ли автор стихотворения «Проклятье! Синий ветер...»?

При этих словах передо мною разверзлась бездна, и я полетел в пропасть глубиною во много-много лет... Немного погодя я увидел что-то вроде лампы, тюлевых гардин, разлетающихся на ветру, и себя, пишущего — черт побери, двадцать лет тому назад.

Но никто в мире не мог знать этого стихотворения! Я ведь сразу сунул его в конверт, и оно где-то затерялось, или его бросили в корзину для бумаг, где и погибла моя маленькая тайна.

И вот появляется незнакомый человек из незнакомой страны и спрашивает, не я ли написал эти строки.

Проговорив чисто механически «Да, да...», я, колебавшись, все-таки задал вопрос:

— А откуда вы его знаете?

— Вы ведь в свое время напечатали его в журнале. В «Пане». А «Пап» в Праге читали многие.

— Ах, вот как,— сказал я (это подходит к любому случаю).

Что за люди, подумалось мне: напечатали, но подумав даже прислать экземпляр! А я тоже хорош — поленился даже проверить.

— Знаете, стихотворение ваше наделало в Праге шума,— продолжал мой визави с неожиданной настойчивостью.

— Да что вы? — удивился я. (А про себя подумал: этого только не хватало! Наделало шума... Боже мой!..)

— Один из моих друзей перевел его на чешский язык.

— Как интересно,— сказал я.

— Перевод был напечатан в крупнейшем пражском журнале. (Я лишь покорно кивал. Новости двадцатилетней давности, дождавшись своего часа, посыпались на меня градом).

— А я написал музыку на ваши стихи,— не ослаблял напора мой визави.— Песню напечатало издательство «Орфей», она стала популярной, и ее часто пели.

— Вот оно что,— сказал я. И вежливо добавил: — Мне это в самом деле приятно слышать.

Тут я бессильно откинулся на спинку стула. Выходит, это проклятое стихотворение обрело самостоятельность. Уйдя из-под моего контроля, оно принялось разъезжать по свету, привело в действие типографии, покорило сердца, заставило избирать голосовые связки и инструменты, а я, его владетельный князь, ничего такого не знал! У меня было чувство, будто я не попал на праздник, который никогда не повторится.

Годы и годы я был автором стихов, которые напечатаны, переведены и положены на музыку,— и не ведал об этом.

Желая утешить себя, я представил, что было бы, узнай я обо всем своевременно. Ведь если тебя в восемнадцать лет напечатали и т. д. и т. п., немудрено, что закружится голова. Я, наверное, весь напыжился бы; поверил бы в свое поэтическое будущее и всерьез увлекся бы арфой Эола — какой ужас. Или того хуже — стал бы бегать со свернутым журналом в кармане и показывать его всем и каждому. Не получив прививки против тщеславия, я скорее всего был бы подвержен его лихорадке.

Как благородно было со стороны судьбы утаить от меня участь этого стихотворения!

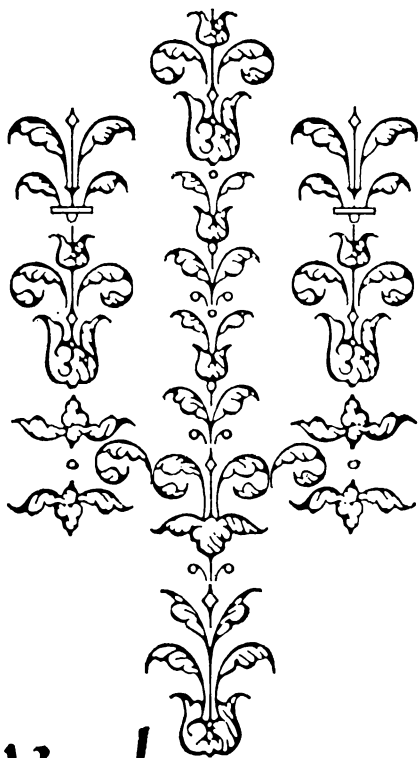
Увы, тут же в висках моих застучал гнев. Только писатель знает, что чувствует молодой человек, впервые опубликовавшийся: это первый поцелуй, это венчание — с искусством, со славой...

А меня этого лишили! Теперь-то мне понятно, почему моя первая публикация оставила меня таким равнодушным: на самом деле она была второй!

И я решил восполнить эту утрату, пусть и «двадцать лет спустя». Я хотел отправиться в Государственную библиотеку, найти нужный номер и насладиться первым взглядом на свою первую подпись.

Поздновато, конечно, но что поделаешь...

Но ничего у меня не вышло. Опять я оказался чересчур ленив и оставил все, как было. Так опонамного романтичнее! Там, где-то в подвале, покрытое пылью, лежат мое стихотворение, моя спящая красавица, которую я никогда не видел и не увижу... Разве что — если напечатают эту вот мою вещицу.



Կապիկ
Շարդի

Уильям Сароян
William Saroyan
Родился в 1908 г.

Американский писатель армянского происхождения.

Родился в городе Фресно (штат Калифорния).

Первый сборник рассказов Сарояна

вышел в 1934 г.

и с тех пор появилось более тридцати его книг —

сборники рассказов и пьес,

романы «Человеческая комедия», «Приключения Весли

Джексона», «Мама, я люблю тебя»

(все три переведены на русский язык)

и другие произведения.

Творчество Уильяма Сарояна

с его гуманизмом

и как бы детским видением мира

пользуется любовью советских читателей.

Мы публикуем отрывок

из его автобиографической книги

«Я живу» (1962).

КНИГИ, МОИ ДЕТИ И Я

Всегда, когда я пишу, мои дети хотят знать, что именно я пишу, и я отвечаю: «Не знаю, что именно, знаю только, что это никуда не годится». Они смеются, но потом словно начинают тревожиться, не столько обо мне, о том, что я пишу, сколько обо всем вообще, о жизни вообще, о правде и искусстве вообще, и тогда, чтобы их успокоить, я говорю: «Да не тревожьтесь вы, ничего особенного тут нет — любому писателю, если он настоящий, кажется, когда он пишет, что пишет он недостаточно хорошо. Но он пишет и пишет, ведь такое чувство у него всегда, и когда он закончит работу, закончит бой, который сам же начал, сам же затеял, бой, где по два-три раза в каждом раунде его чуть не укладывают на обе лопатки, а он все равно доведет его, этот бой, до конца и уйдет с ринга полуживой, но счастливый, и забудет об этой схватке, о том, как писал, а потом вернется к написанному, оно все равно окажется хуже, чем следовало, но что-то, в конце концов, получилось, много ли, мало, но получилось».

Вчера вечером мой сын сказал: «Мне бы очень хотелось прочитать эту книгу, когда ты ее кончишь — если можно».

И я ответил: «Конечно, можно, но только лучше, если сначала прочитаю ее я, а до этого отложу ее на месяц-два, а может, на год-два, ведь пока писатель не прочитает того, что написал, пока не пересмотрит все заново, не поработает ножицами, не выбросит много и не добавит немного, нельзя считать, что книга закончена. То, что писатель пишет вначале, — это только глина, над которой надо работать, надо придать ей форму и устойчивость. Есть много книг, которые тебе стоило бы прочитать, и я говорю сейчас не о том, что написал сам, хотя моего тоже много напечатано. И знаешь, эта новая вещь, которую я пишу сейчас, даже не роман. Это что-то другое».

«Ну, а что это, как ты ее назовешь?»

«Просто — написанное. Попытка выяснить, можно ли создать литературное произведение, следуя особой программе, в которой есть место и для свободы и для формы — ты, может, знаешь, меня давно уже интересуют эти две противоположности, мне хочется узнать, возможно ли, по крайней мере для меня, написать произведение, где одна уравновешивала бы другую. Так вот: в эту вещь, которую я пишу сейчас и которая до сих пор еще не вылилась во что-то определенное, я вложил столько свободы, сколько есть ее во мне, но в то же время я стараюсь придать этой вещи форму. Пока у меня не получается, и прежде чем я решу, насколько не получается, или решу, что, по сути, и неважно, получается или нет, мне нужно

отложить написанное, забыть о нем, залечить раны после схватки, а потом в один прекрасный день, когда силы восстанавливаются, к нему вернуться, прочитать внимательно и поработать, и только тогда я буду знать, что у меня есть, во-первых, для себя и, во-вторых, для вас — всех других, кого это может интересовать. Когда я буду готов вернуться к написанному, я буду уже не только писателем, который все это создал, как сейчас, пока я пишу, — я буду также и читателем — не только собой, но и тобой, и другим, каждым, и, возможно, буду уже в другом городе, не в Париже, и в другой стране, не во Франции, да и время уже будет другое. Еще когда ты был совсем маленький, я начал тщательно взвешивать все, что пишу — ведь я был твоим отцом и не слишком хорошо тебя знал, я не хотел написать ничего такого, что бы тебя потом смутило, ни о тебе ни о себе; ну, а теперь, когда ты старше и я лучше тебя узнал, и знаю, что тебя не смутят никакие старания человека выразить то, что он думает, — теперь я чувствую себя свободным и верю, что ты не поставишь мне в вину ничего из того, что я напишу. Например, тебе может показаться, будто кое-что в этой книге написано в дурном вкусе, хотя на самом деле это, вероятно, вовсе не так. Тем, кто испытал мало, легко презирать тех, кто испытал многое, и я совсем не хочу этим сказать, что сам я испытал много, хотя, сказать правду, так оно и есть — если не во всем, то кое в чем. Иными словами, человек, который всю жизнь прятал свою душу в укромном местечке, почти наверняка осудит того, кто не мог или не захотел запрятать в такое же укромное местечко свою. Через два-три года ты, наверно, получишь обо всем этом более ясное представление, а я пока буду просто делать свое дело, буду писать, и если у меня получится что-нибудь непохожее, совсем или хотя бы немного, на то, что я писал до этого, я буду считать, что ничего страшного тут нет. Есть теории целостности, и я вовсе не против теорий, но только мне кажется, что если у человека есть способность или хотя бы неодолимое желание расширить свое «я» с тем, чтобы это новое «я» потом тоже обрело цельность, то расширять его следует. Лучшие писатели предпочитали сидеть на месте, но мне жаль, что они мало путешествовали. Возьмем двух-трех, которых ты немного знаешь. Вот, например, Чарльз Диккенс. Ты ведь знаешь, он создал удивительнейшие повествования о человеческой жизни. В их стиле, могучем и необыкновенно красивом, смешиваются глубокая, почти безутешная печаль и, пусть иногда неумеренные, смех и веселье. Однако мне не хватает в его произведениях кое-чего из пережитого им после того, как ему исполнился двадцать один год, из пережитого на самом деле: его брака, например, который очень быстро стал разваливаться, его романов с другими женщинами, его отношения к собственным детям — и к детям в романах, которые он напи-

сал,— например, к Пипу в «Больших надеждах». Или, к примеру, Антон Чехов, другой писатель, соединявший изящество стиля с глубокой печалью и великолепным юмором. Бодяга всю жизнь болел и, хотя сам был врачом, победить свою болезнь так и не смог. Я вовсе не хочу сказать, что человеческий удел был ему ненавистен. То есть, вероятнее всего, и ненавистен — как всем нам, но и дорог — только, может быть, меньше, или, во всяком случае, по-другому, чем большинству из нас. Сам я думаю, что еще до того, как ему исполнилось восемнадцать лет, он решил, что уже умирает, и это было верно, каждый человек знает, что умирает, задолго до смерти и задолго до того, как ему исполнится восемнадцать лет, но только Чехов не стал делать ничего ради этого, ради того, чтобы отодвинуть свою смерть, отодвинуть неизбежное, а только стал писать свои замечательные рассказы и пьесы, съездил на Сахалин посмотреть, как там живут люди, и побывал раза два на юге Франции, в Ницце, если не ошибаюсь, и в Каннах, где я недавно столько развлекался в игорных домах: там, в Каннах, по-моему, он и умер. Обо всем этом я говорю вот почему: мне жаль, что Чехов не смог или не захотел рассказать нам немного больше о себе, о бое, который пришлось вести ему самому; жаль, потому что он был очень странное, очень необычное существо, и нам было бы полезно узнать, что же за человек он был на самом деле, как он на самом деле переносил безрадостность каждого дня и года своей жизни, да и все остальное».

Писатель говорит с сыном, говорит с дочерью, начинает для них писать еще задолго до первой встречи с их матерью и до того, конечно, как на ней женится; задолго до того, как увидит своих детей впервые и потом будет видеть снова и снова, все детство, с раннего младенчества до их полной, или, во всяком случае, более или менее полной зрелости.

«А потом,— сказал я своему сыну,— есть еще и все остальные писатели, и я говорю сейчас только о самых лучших, о тех, кто писал по-настоящему, умел писать, хотел писать и писал. Так вот: им ни за что не хотелось расстаться с теми немногими для каждого писателя литературными формами, с которыми тот чувствует себя совсем уверенно в полной безопасности, очень сильным и крепко стоящим на ногах, и они не выходили из этих форм в свободный язык, туда, где форма ничего не значит, где она лишь помеха и ничего более. Они не рассказывали нам об уделе человека то, что, как нам известно, они о нем знали, и оттого я чувствую себя обманутым. Сам я не хочу продолжать этот обман, и вот почему я пишу сейчас то, что пишу: вещь без формы. Я хочу посмотреть, сумею ли я рассказать, как я сейчас живу и работаю, как я жил и работал и как я не умираю — вот и все».

Каждое утро, когда я перестаю печатать на машинке, когда встаю из-за стола, за которым работал, кто-нибудь из моих детей, сын или дочь, спрашивает: «Ты сделал свою работу? Трудно было? Сколько написал страниц?»

И всегда бывают довольны, когда я им докладываю, что работу сделал, что было нетрудно и что написал я шесть страниц. Они знают, что я очень стараюсь писать не меньше шести страниц ежедневно, и довольны, когда мне это удается. Когда же напишу семь или восемь, они бывают особенно довольны, хотя сына немного расстраивает моя теория, согласно которой то, что я пишу, никуда не годится. И мне приходится объяснять, почему я так думаю: в первую очередь потому, что написанное (и это вполне естественно) далеко от совершенства, очень и очень далеко; оно совсем не такое, каким могло бы должно было быть, учитывая, что мне почти пятьдесят один и печатаюсь я уже двадцать пять лет, а пишу больше сорока. Еще я объясняю, что любому писателю, когда он пишет, то, что он пишет, всегда кажется слабым и ненужным, по той простой причине, что он знает, насколько лучше могло бы получиться — если бы получилось. Для писателя важно не опускать руки — нужно знать и принимать правду о своей работе, но в то же время нужно идти дальше, доводить начатое до конца, прилагать все усилия, потому что если не прилагать их, не получится вообще ничего. Если мужчина женится, у него потом появляются дети; ему не дано знать заранее, какие они будут, но он идет на этот риск. То же и с писателем. Он пишет, хоть никогда не знает, что именно у него напишется. Наверняка не то, что у других, точно так же, как его дети не будут чьими-то детьми — это будут дети его и его жены. Писатель женится, у него с женой появляются дети, в это же время он начинает писать новые произведения и их заканчивает. Дети растут, меняются год от года, а написанное остается тем же, что было, но не совсем, потому что меняются сами читатели, а любая книга живет в читателях, даже если единственный читатель книги — это человек, который ее написал. С литературными произведениями, как и с детьми, никогда нельзя узнать наперед.

«Ну, ладно, — смеется моя дочь, — откажись от меня. Я знаю, я тебе не очень нравлюсь, так откажись от меня — я этого не боюсь!»

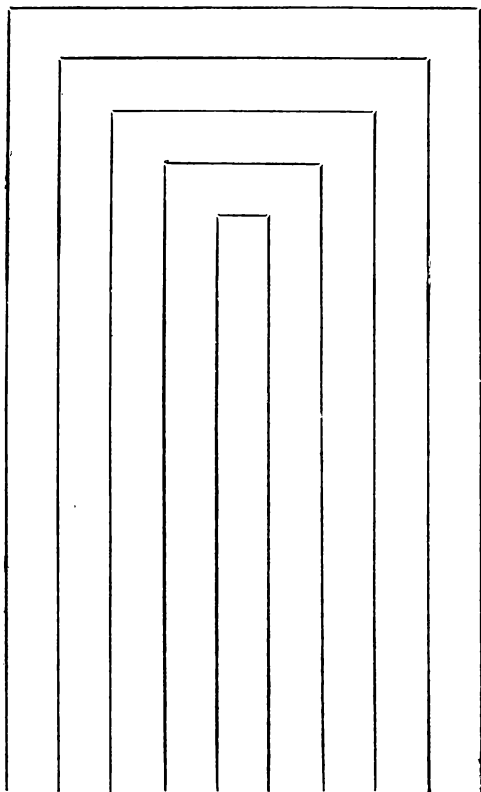
Твои дети говорят с тобой, поддразнивают тебя, им весело, и это очень хорошо, а твои книги ждут, чтобы ты изменился, изменился еще чуть-чуть, но не сильно, и ждут, чтобы ты прочитал их снова, узнал о них побольше, и вот тогда ты будешь знать точно, или почти точно, что они такое, что же такое ты написал в давно прошедшие дни.

Мне было шестнадцать лет, меня уже вышибали из школы столько раз, что я решил больше туда не возвращаться, и вот

теперь я подрезал лозы на виноградниках в Сан-Хоакин Вэлли, штат Калифорния. Пошел сильный дождь, и всем, кто работал на виноградниках, пришлось бросить работу и уйти, не дожидаясь конца рабочего дня. Я отправился в книжную лавку во Фресно, в заднюю комнату, где были старые книги, и начал искать что-нибудь бесценное ценою в пять или десять центов. Я нашел кипу старых журналов, но хороших старых журналов, не макулатуры, и один из них (я уже слышал о нем прежде) назывался «Дайэл» — «Циферблат». Во всем магазине оказался только один экземпляр журнала. Я спросил о нем у старика, и тот сказал, что этот у него единственный, и других никогда не было, журнал лежит уже год и он не помнит, откуда он у него. Я заплатил десять центов и с журналом за пазухой под проливным дождем покатил на велосипеде домой. Я прочитал журнал от корки до корки — шел дождь, пойти было некуда, в кино я бы не пошел все равно, заняться было нечем, школу я бросил навсегда, я собирался стать писателем или никем вообще, я не знал, как мне стать писателем или как, если уж придется, становятся никем вообще, и потому сел за круглый стол на веранде и начал читать. О боже! Как они это делают? Как это им удается так писать? Каждое слово нужное, каждое наполнено смыслом, и все они складываются в один рассказ за другим, или в одно стихотворение за другим, или в одно эссе за другим, а около них я, шестнадцатилетний дурень, не великий писатель, а никудышный читатель. Но все равно; лучше быть читателем, чем никем, особенно если читаешь что-нибудь хорошее, как сейчас, хоть я и знал, что сам я так писать никогда не смогу. Эти ребята умеют, а я не умею и, думал я, никогда не сумею. Надо было научиться писать так, чтобы редакторы и издатели печатали меня невзирая на то, что писать я не умею. И я не считал это невозможным, хотя и не считал, что это обязательно произойдет. Я не был уверен ни в чем — ни один писатель не уверен в шестнадцать лет. Но что я не смогу писать так, как пишут эти писатели, я знал точно, потому что они (это было очевидно) много учились. Чтобы писать, как они, надо было стать таким, как они, — но каким образом? Это для меня исключалось. Я не слыхал о них до этого, не считая одного или двух имен, но сейчас почти видел перед собой, и мне казалось, что они похожи на писателей, а сам я (я это хорошо знал) похож на писателя вовсе не был. У них были знания, у меня не было. Правда, я был умен, или, во всяком случае, считал так: чем еще мог я оправдать, что задираю нос перед всем и всеми на свете, включая и самих этих писателей, чьи вещи, с одной стороны, меня восхищали, а чьи знания, с другой, меня злили? Они знали столько всякого о других писателях, о других литературных периодах, столько разных теорий по поводу того, что такой-то писатель сделал, о том, как он

создал новую школу в литературном творчестве, и столько всякого другого в таком же роде! А что знал обо всем этом я? Почти ничего, если не считать «последних слов» двух или трех сотен людей — они были напечатаны в старом календаре, одной из моих любимых книг. Но еще прежде, чем я дочитал журнал до конца, мне встретился в нем четыре или пять страниц, прочитав которые, я буквально запрыгал от восторга. Они были взяты из большой неоконченной вещи, называвшейся «Устная история мира», а имя писателя было Джо Гулд. Ну, а уж если писатель называет себя не Джозеф, а Джо, поневоле остановишься и задумаешься: кому же это он, интересно, спрашивается в дружки? Сперва, пока я не начал читать то, что написал Джо Гулд, я решил, что он, наверно, какой-нибудь проходимец, и чуть было не пропустил этих страниц. Но потом увидел, что пропустить не могу. Я читал и подпрыгивал: простое, ясное, настоящее — и все из одних только разговоров разных людей. Не великих людей, говорящих великое, а обыкновенных, говорящих обыкновенное.

Утром я снова пошел на виноградники, но теперь начал прислушиваться к тому обыкновенному, что рабочие говорили друг другу и мне, и кое-что у меня в руках уже было, кое-чему Джо Гулд меня научил: слушай и услышишь. И я стал слушать.



Эрх КЕСТЕР

Эрих Кестнер
Erich Kästner
1899—1973

Немецкий писатель,
родился в Дрездене.
В нацистской Германии книги Кестнера были запрещены,
в 1933 г. их сжигали,
однако он не эмигрировал, а остался в Германии —
чтобы, по его словам, «быть свидетелем
и, когда придет пора, дать показания».
Его книги для детей,
особенно «Эмиль и сыщики» (1929),
переведены на многие языки,
в том числе и на русский,
и широко известны во всем мире.
Большую популярность
приобрели также роман Э. Кестнера «Фабиян»
и сборник его рассказов и эссе «Мы снова тут»,
трагикомедия «Школа диктаторов»,
лирические и сатирические стихи.
Эрих Кестнер —
лауреат многих литературных премий.

ПРОСМАТРИВАЯ СВОИ КНИГИ

Моя первая книга, сборник стихов «Сердце на талии», вышла в свет в 1927 году. А в 1933 году мои книги были с мрачно-торжественной помпезностью подвергнуты сожжению на большой площади перед Берлинской оперой, и руководил всем этим некий господин Геббельс. Торжествуя, выкрикивал он имена двадцати четырех немецких писателей, имена которых символически стирались в памяти немецкого народа. Я — единственный из двадцати четырех — пришел сюда, чтобы самому присутствовать при этой театрализованной гнусности.

Я стоял перед университетом, сжатый колоннами студентов в форме СА, этим «цветом нации», видел, как наши книги швыряют в дрожащие языки пламени и слышал тирады низкорослого колченогого лжеца. Над городом повисло похоронное настроение. Кто-то размахивал насаженной на палку головой, сбитой со статуи Магнуса Хиршфельда, ученого-гуманиста, и никого это не смущало. Омерзительное зрелище.

И вдруг послышался высокий женский голос: «А вот стоит Кестнер!» Это юная певичка из кабаре, пробивавшаяся со своими коллегами сквозь толпу, увидела меня и преувеличенно громко удивилась. Мне сделалось не по себе. Но ничего не произошло. (Хотя в эти дни «происходило» как раз более чем предостаточно.) Колченогий лжец лалял не умолкая. А глаза коричневой студенческой гвардии, с ремнями шлемов над подбородками, смотрели, не мигая, на огонь и беспорядочно жестикулирующего хромого беса.

За последующее десятилетие я видел свои книги часто, всего несколько раз, когда мне приходилось бывать за границей. В Копенгагене, в Цюрихе, в Лондоне. Странное это чувство — быть запрещенным писателем и никогда не видеть своих книг на полках или в витринах книжных магазинов. Ни в одном городе страны. Ни даже в своем родном городе. Ни даже в рождество, когда все немцы носятся по улицам в поисках подарков. Так прошли целых двенадцать рождественских праздников! А ты был живым трупом.

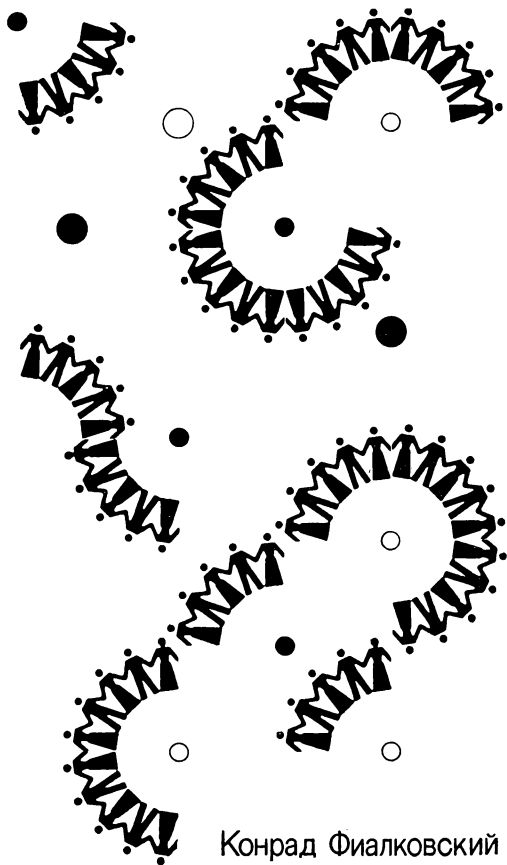
Двенадцать долгих лет прошло, пока рухнул третий рейх. Двенадцати коротких лет хватило, чтобы повергнуть Германию в пропасть без конца и края. А ты вовсе не был пророчателем, когда в сатирических строфах предсказывал это и подобные события. Ошибки быть не мог-

ло, ибо ты знал то, о чем писал: характер немцев. Разумеется, сатирик должен знать предмет своей критики. И я знал его.

Я собрал сейчас сборник из четырех моих книг, вышедших до 1933 года. То, что в них казалось «предвидением», сейчас — историческая ретроспектива. В годы третьего рейха в Швейцарии вышел другой сборник. Он назывался «Лирическая домашняя аптечка доктора Эриха Кестнера», и стихи, напечатанные в нем, посвящены внутреннему миру сегодняшних горожан. В отличие от той книги, я собираю сейчас свои социальные и политические стихи.

Итак, это стихи из прошлого. Эти строфы показывают, что чувствовал их автор до 1933 года. Они показывают также, как молодой человек при помощи иронии, критики, обличений, издевательства и смеха пытался предупредить своих современников. Подобные попытки обречены на неудачу — это яснее ясного. И точно так же ясно, что бессмысленность таких попыток и осознание этой бессмысленности еще никогда не могли заставить замолчать истинного сатирика — и никогда не заставят! Разве что его книги сожгут!..

Сатирики не могут молчать, ведь они — учителя. А учителя должны учить. И кроме того, где-то в сокровенном уголке их сердца робко живет — несмотря на все несовершенство мира — слабая, чуть ли не безумная надежда, что люди сделаются хоть немного лучше, если их достаточно часто ругать, просить, оскорблять и высмеивать. Сатирики — идеалисты.



Конрад Фиалковский

Конрад Фиалковский
Konrad Fialkowski

Польский писатель-фантаст.

**Окончил Варшавский политехнический институт,
в 1964 г. стал доктором технических наук.**

Писать начал, еще учась в школе.

**К 1965 г. К. Фиалковский был уже дважды лауреатом
конкурсов на лучший научно-фантастический рассказ.**

**В 1975 г. стал директором Института технической
и экономической информации ПНР.**

**Написал много научно-фантастических рассказов,
на русский язык из них переведено больше двадцати.**

**В 1966 г. издательство «Мир» в Москве
выпустило авторский сборник
К. Фиалковского — «Пятое измерение».**

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Он постучал, а не позвонил, и когда Роберт пошел открывать, он уже стоял в передней. Был он среднего роста и все время улыбался.

— Вы ко мне? — Роберт разглядывал его куртку: странная какая-то, без пуговиц и без «молнии».

— Да, к вам.

— А дверь была открыта?

— В известном смысле — открыта. Но я ее тщательно закрыл.

— Спасибо. Моя жена очень рассеянна и на работу всегда спешит...

— Вы уже женились? — Незнакомец вдруг перестал улыбаться.

— Да. А почему вы об этом спрашиваете?

— Пустяки, конечно. Маленькая неточность. А... простите... — незнакомец слегка поколебался. — Вы в первый раз или во второй?

— Не понимаю. Я женат в первый раз. Но объясните...

— Ну, правда же! Пустяки! Я так просто спросил.

— Ладно. Мое семейное положение — никакая не тайна. Но объясните, чем я могу вам служить.

— Правда! Я забыл представиться. Меня зовут Дон.

— Красивое имя. А фамилия?

— Дон — этого вполне хватит. Есть еще кое-какие добавления, но они не играют роли. Я — ваш читатель.

— Очень приятно. Я, видимо, должен считать нашу встречу чем-то вроде читательской конференции?

Роберт шагнул к незнакомцу. «Сейчас я его вежливенько выпровожу», — подумал он.

— Ну что вы. По такому пустячному поводу я бы не решился вас беспокоить. Я являюсь полномочным представителем Института истории литературы, сектор... но об этом позже. Я должен для начала растолковать вам кое-что. Пойдемте в ваш кабинет, а? Я превосходно знаю его по фотографиям. Ваш письменный стол, эта достопочтенная мебель, украшает собой...

— Мой письменный стол стоит где положено, можете в этом удостовериться. Другого у меня в жизни не было.

Роберт повел незнакомца в кабинет. «Забавно! — подумал он. — Этого субъекта вряд ли можно считать нормальным, но — читателей не выбирают».

В кабинете, как всегда, валялись повсюду старые иллюстрированные журналы, рукописи, счета, какие-то бумаги. Ря-

дом с пепельницей, полной окурков, стояла недопитая чашка кофе.

— Если б вы заранее позвонили, я немного навел бы порядок, — сказал Роберт.

— Но, дорогой мой, ведь именно так вы работали, именно так это выглядело... — Он поймал удивленный взгляд Роберта и добавил: — Лишь человек, не находящийся в единстве с миром, нуждается в порядке, чтобы не погибнуть. Это — цитата, — сразу же предупредил он. — Но в нашем мире, в нашей солнечной системе необходим порядок, и вы это превосходно понимали. Я имею в виду ваши книги.

— Знаете ли, я этого как-то не заметил...

— Исследователи литературы раннеатомной эпохи определили это именно так.

— Какой-какой эпохи?

— Ну, вашего времени.

— Не вполне понимаю, — сказал Роберт и подумал, что неплохо бы этому человеку очутиться по ту сторону двери.

— Но ведь вы это выразили в «Признании андроида».

— Вы ошибаетесь. Я такой книги не писал.

— Еще нет?

— Вы надо мной издеваетесь!

— Разве я посмел бы! Уверю вас, вы ее напишете. Вы мне поверьте. Я говорю чистую правду. Ведь я же писал магистерскую работу на тему «Образ андроида в литературе раннеатомного периода».

— Послушайте... — Роберт старался говорить спокойно. — Я вынужден с вами попрощаться. У меня на сегодня намечена масса дел.

— Мой визит, право же, не затянется, а дело важное.

— Не сомневаюсь. Однако же...

— Дорогой автор, разрешите мне закончить. Так вот, скажу прямо и кратко: я руковожу сектором раннеатомного периода в Институте литературы.

— Я знал человека, который утверждал, что он — адмирал Нельсон, — заметил Роберт.

— Я, к сожалению, не знаком с этим адмиралом. Но те, которые пользуются временно-историческими стипендиями, вроде бы с ним встречались. Однако вернемся к делу. В ваши, несомненно эпохальные произведения вкрались некие нотки, которые, скажем так, ставят под сомнение максимально широко понимаемую пригодность... Ну, просто мы не можем ни рекомендовать ваши книги для школьного чтения, ни включать их в библиотеки космолетов.

— О чем вы говорите? Какие космолеты?

— Конечно, пассажирские — ну, на рейсах Земля — Марс и Земля — Венера. Команды экспериментальных космолетов и дальние разведчики — это, разумеется, интеллектуальная

элита. Они читают все. Но у простого землянина могут возникнуть нежелательные ассоциации.

— При чтении моих книг?

— Ну, конечно! — Незнакомец обрадовался. — Превосходно, мы уже начинаем понимать друг друга.

— Так пускай, черт их дерит, не читают моих книг.

— Нет, это совершенно невозможно. Классик литературы. Миллиардные тиражи. Постоянные передачи по стереовидению. Об этом даже и говорить не стоит.

— Ну, понятно, — сказал Роберт. — Так мы, очевидно, можем начать прощаться.

— Но ведь вы еще не выслушали моего предложения.

— Тогда давайте покороче.

«Пускай выскажется, и я, наконец, от него избавлюсь», — подумал Роберт.

— В этом вопросе вы, как обычно, исходите из фактов.

— В каком вопросе?

— Я имею в виду опыт с курицей.

— С чем — с чем?

— С курицей. У курицы вызывается определенная реакция при помощи стимулирования или, проще говоря, раздражения соответствующих центров в ее мозге.

— При посредстве вживленных электродов. Но почему непременно курица?

— Можно и петуха. Дорогой автор, не будем спорить о деталях. Берем курицу, вводим электрод в соответствующий центр ее мозга и раздражаем током этот центр.

— Допустим, но...

— Минуточку. Если это центр агрессии, курица нападает на несуществующего противника, если центр страха — курица убегает, хотя ничто ее к этому не склоняет.

— Слушайте, я об этом тоже читал.

— Вы об этом и писали. Так вот, если раздражаем оба центра попеременно, поведение курицы усложняется: она топчет перья, бежит по кругу, тихонько кудахчет.

— Хорошо, но какое мне дело до этой курицы?

— В естественных условиях курица ведет себя таким образом, если на ее цыплят нападает ястреб. Тогда курица одновременно и боится, и лезет в драку.

Роберт рухнул в кресло.

— А дальше что? — спросил он.

Незнакомец улыбнулся.

— Как приятно, что вы любите систематическое изложение. Прямо будто в наше время живете. Но к делу. Само собой понятно, что у человека такое состояние можно вызвать теми же средствами, что и у курицы. И человек будет ощущать это как свой собственный сердечный порыв.

— Страх без причины, нападение без причины...— пробормотал Роберт.

«Я начинаю в это втягиваться»,— подумал он.

— Без внешней причины, кроме электрода,— поправил его незнакомец.

— Стимулированная рота идет в атаку... Каждый солдат — герой...

— Нас это уже не интересует. Это пройденный этап. Однако вы, дорогой автор, в воображении идете дальше.

— Да я же ничего такого не написал. Я совершенно в этом уверен.

— Но напишете, и очень скоро. Я не помню всех дат вашей биографии, однако, уверяю вас, что это вопрос ближайших лет.

— Да в чем дело, наконец?

— Вы сами сказали: страх без причины, гнев без причины, тревога без причины.

— Ну и что?

— А вы сами этого никогда не чувствовали? Никогда не делали чего-то, совершенно неожиданного для себя и для других, чего-то, причину чего вы потом не могли найти? Какая-то внезапная и неодолимая внутренняя потребность...

— Но меня же никто не стимулировал...

— Потому что у вас нет электродов в мозгу? А если это можно делать без электродов?

— Чепуха!

— Для вашего времени, дорогой автор, чепуха. А для нашего — не скажите. Во всяком случае, мы хотим избежать ненужных сопоставлений, и поэтому я прошу вас избегать таких сопоставлений в книгах, которые вы напишете.

— Я не совсем понимаю. Вы попросту хотите, чтобы я иначе писал то, что пишу?

— Вот именно! Да ведь речь-то идет о мелочах.

— И вся затея из-за этого... Но, слушайте, это же недопустимо! Я автор. Пишу то, что хочу сказать. Именно то! Ни больше, ни меньше.

— Конечно. Вы совершенно правы, дорогой автор. Именно так и следует писать. Ничего больше. Ничего меньше. Но, может быть, чуточку иначе.

— Нет, хватит! Вы уговариваете меня, чтобы я калечил свои рассказы! И на таком сумасшедшем основании... для блага читателей какого-то там столетия! Чтобы они не думали слишком много, когда книги читают!

— Вы это формулируете слишком резко, дорогой автор.

«Вот скажет он еще раз «дорогой автор», и я вышвырну его за дверь»,— подумал Роберт.

— Я говорю то, что думаю. А кроме того, если верить вашим неправдоподобным утверждениям, вы собираетесь изме-

нять произведения прошлого и заранее исправлять то, что будет написано позже.

— В известном смысле вы правы. Мы исходим из предположки, что необходимые изменения сам автор сделает лучше, чем какой-то случайный редактор в будущем.

— Зря вы теряете время. Я ничего не изменю,— заявил Роберт.

— Ну что за времена! С Гете у нас не было таких хлопот. Он переработал «Фауста» по нашим указаниям. Насколько мне известно, «Гамлет» тоже оканчивался иначе. А для авторов, исторически еще более древних, любая беседа с нами была откровением... Ну, что ж,— как вижу, я вас не убедил. Вы ничего не измените?

— И говорить не о чем. Напишу! Все как есть напишу!

Незнакомец только головой покачал. И тут зазвонил телефон. Роберт поднял трубку.

— Да. Слушаю... Дон? Да, он у меня. Сейчас я его спрошу.

Роберт прикрыл ладонью мембрану и сказал незнакомцу: — Он говорит, что сейчас придет к вам, как обычно.

— Ясно, пускай приходит, если нельзя иначе,— ответил тот.

«Придут сейчас за ним, и я вздохну свободно,— подумал Роберт.— Он, видно, уже не в первый раз удирает от медиков. Надо же, удалось ему втянуть меня в эту нелепую дискуссию...»

— Приходите,— сказал Роберт в трубку.— А, вы знаете мой адрес? Ну, до скорого.— Роберт повернулся к незнакомцу.— Он сейчас будет. Это кто, врач?

— Нет, автомат.

— Это вы его так называете?

— Нет, это действительно автомат, и думаю, что его вид будет для вас сюрпризом.

— Вы думаете, после нашего с вами разговора меня может что-либо удивить?

— Если вы серьезно относитесь к научной фантастике, то, наверное, нет. Но поговорим конкретно. Хочу вам кое-что предложить.

«Я тоже хотел бы тебе кое-что предложить,— подумал Роберт.— Да уж подожду: сейчас тебя заберут отсюда».

— Я вас слушаю,— сказал он спокойно.

— Я хотел бы предложить вам кафедру литературы раннеатомной эпохи во Всемирном институте литературы. Что вы на это скажете?

— А где находится этот институт?

— Примерно за семьсот километров и триста шестьдесят лет отсюда.

— Лет?

— Ну да. В будущем. Но это недалеко. Местность красивая, климат за эти триста лет не изменился. Ну как, вы решались?

— Я не могу покинуть свое время. Ведь у меня семья, работа. Еще не написанные книги.

— Мы подготовили заменяющий автомат. Он знает всю вашу жизнь и все творчество, со всеми необходимыми деталями. Можете не беспокоиться. В его памяти записаны все ваши произведения, слово в слово. Он не ошибается. Он все воссоздаст совершенно точно. Исключит, возможно, лишь те штрихи, о которых мы с вами говорили. Но это ничуть не уменьшит ценности ваших произведений. Ну что, согласны?

— Согласен! — радостно закричал Роберт. — За вами должны уже приехать, — добавил он.

— Вам не терпится, я вижу. Сейчас отправимся. Это как раз ваш заместитель и звонил.

— Мой заместитель?

— Ну да. Вы его не узнали по голосу? Он полностью идентичен. Другое дело, что мы не знаем собственного голоса. И вообще он полностью идентичен. Ни жена, ни коллеги, никто не распознает, что вы уехали. А вот и он!

— Прямо так, без стука... — начал Роберт. И не окончил.

— Через четвертое измерение. К этому можно привыкнуть.

— Но ведь он... он совсем, как я...

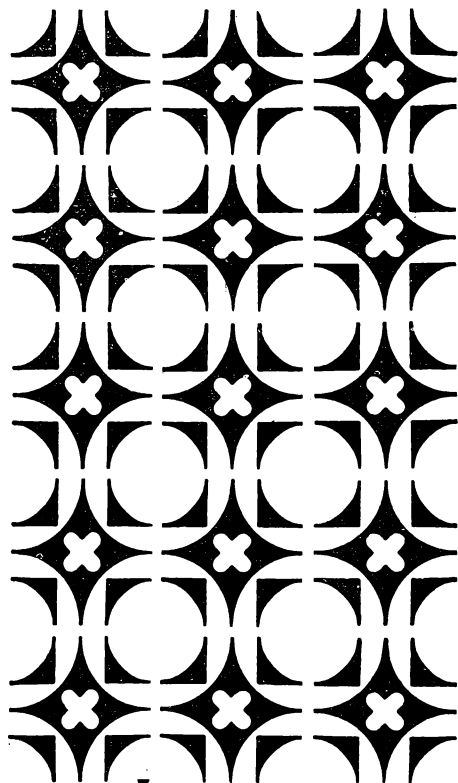
— Вот видите, я ничуть не преувеличивал.

— Если вы пришли по поводу интервью, — сказал двойник, — то, к сожалению, я вынужден вам отказать. У меня сегодня слишком много работы.

— Он великолепен. Правда? Дайте мне руку, Роберт. Вы оставляете достойного заместителя.

Роберт машинально дал руку незнакомцу. И оба они исчезли.

Когда жена Роберта вернулась домой, она заметила, что бумаги на его письменном столе аккуратно сложены, а карандаши старательно заточены. Она несколько удивилась, но промолчала. Она просто не знала, что у автоматов XXIV века имеется встроенная потребность порядка.



РЭЙ БРЭДБЕРИ

Рэй Дуглас Брэдбери
Ray Bradbury
Родился в 1920 г.

Американский писатель-фантаст.
Писать начал с семнадцати лет.
Настоящий успех принесли ему
«Марсианские хроники» (1950)
и «451° по Фаренгейту» (1953).

Рассказы Брэдбери,
подчас философские и трагические,
подчас насыщенные эксцентрикой и юмором,
завоевали ему сердца миллионов
читателей во всем мире.

У нас в стране
его произведения
широко переводятся и издаются.

ЛУЧЕЗАРНЫЙ ФЕНИКС

Однажды в апреле две тысячи двадцать второго тяжелая дверь библиотеки оглушительно хлопнула.

Грянул гром.

Ну вот, подумал я.

У подножья лестницы, подняв свирепые глаза к моему столу, в мундире Объединенного легиона (мундир теперь сидел на нем отнюдь не так ловко, как двадцать лет назад) возник Джонатан Барнс.

Хоть он и храбрился, но мгновение помешкал, и я вспомнил десять тысяч речей, которые он извергал, как фонтан, на митингах ветеранов, и несчетные парады под развернутыми знаменами, где он гонял нас до седьмого пота, и патристические обеды с застывшими в жиру цыплятами под зеленым горошком — обеды, которые он поистине сам стряпал, — все мертворожденные кампании, которые затевал сей рьяный политикан.

И вот Джонатан Барнс топает вверх по парадной лестнице и до скрипа давит на каждую ступеньку всем своим весом, всей мощью и только что обретенной властью. Но, должно быть, эхо тяжких шагов, отброшенное высокими сводами, опеломило даже его самого и напомнило о кое-каких правилах приличия, ибо, подойдя к моему столу и жаркодохнув мне в лицо перегаром, заговорил он все же шепотом:

— Я пришел за книгами, Том.

Я небрежно повернулся, заглянул в картотеку.

— Когда они будут готовы, мы вас известим.

— Погоди, — сказал он. — Постой...

— Ты хочешь забрать книги, пожертвованные в Фонд ветеранов для раздачи в госпитале?

— Нет, нет! — крикнул он. — Я заберу *все* книги.

Я посмотрел на него в упор.

— Ну, почти все, — поправился он.

— Почти все? — Я мельком глянул на него, наклонился и стал перебирать карточки. — В одни руки за один раз выдается не больше десяти. Сейчас посмотрим. А, вот. Позволь, да ведь срок твоего абонеента истек тридцать лет назад, ты его не возобновлял с тех пор, как тебе минуло двадцать. Видишь? — я поднял карточку и показал ему.

Барнс оперся обеими руками о мой стол и навис над ним всей своей громадой.

— Я вижу, ты оказываешь сопротивление! — Лицо его наливалось кровью, дыхание становилось шумным и хриплым. — Мне для моей работы никакие карточки не нужны!

Он прохрипел это так громко, что мириады белых страниц перестали трепетать мотыльковыми крыльями под зелеными абажурами в просторных мраморных залах. Несколько книг еле слышно захлопнулись.

Читатели подняли головы, обратили к нам отрешенные лица. Таково было время и самый здешний воздух, что все смотрели глазами антилопы, молящей, чтобы вернулась тишина, ведь она непременно возвращается, когда тигр приходит напиться к роднику и вновь уходит, а здесь, конечно же, утоляли жажду у излюбленного родника. Я смотрел на поднятые от книг кроткие лица и думал про все сорок лет, что я жил, работал, даже спал здесь, среди потаенных жизней и хранимых бумажными листами безмолвных людей, созданных воображением. Сейчас, как всегда, моя библиотека мне казалась прохладной пещерой, а быть может — вечно молодым и растущим лесом, где укрываешься на час от дневного зноя и лихорадочной суеты, чтобы освежиться телом и омыться духом при свете, смягченном зелеными, как трава, абажурами, под шорох ветерков, возникающих, когда опять и опять листьяются светлые печные страницы. Тогда мысли вновь становятся ясней и отчетливей, тело — раскованней, и снова находишь силы выйти в пекло действительности, в полуденный зной, навстречу уличной суете, неправдоподобной старости, неизбежной смерти. У меня на глазах тысячи изголодавшихся еле добирались сюда в изнеможении и уходили насытаться. Я видел, как те, кто себя потерял, вновь обретали себя. Я звал трезвых реалистов, которые здесь предавались мечтам, и мечтателей, что пробуждались в этом мраморном убежище, где закладкой в каждой книге была тишина.

— Да, — сказал я наконец. — Но записаться заново — мимолетное дело. Вот, заполни новую карточку. Найди двух надежных поручителей...

— Чтоб жечь книги, мне поручители ни к чему! — сказал Барнс.

— Напротив, — сказал я, — для этого тебе еще много чего нужно.

— Мои люди — вот мои поручители. Они ждут книг на улице. Они опасны.

— Такие люди всегда опасны.

— Да нет же, болван, я про книги. Книги — вот что опасно. Каждая дудит в свою дуду. Путаница, разнобой, ни черта не поймешь. Сплошной треп и сопля-вопли. Нет, мы это все обстрогаем. Чтоб все просто и ясно и никаких загогулин. Нам надо...

— Надо это обсудить, — сказал я и прихватил подмышку томик Демосфена. — Мне пора обедать. Будь добр, составь компанию...

Я был уже на полпути к двери, но тут Барнс, который сперва только вытаращил глаза, вдруг вспомнил про серебряный свисток, висевший у него на груди, ткнул его в свой слюнявый рот и пронзительно свистнул.

Двери с улицы распахнулись настежь. Вверх по лестнице громяющим потоком хлынули люди в угольно-черной форме.

Я негромко их окликнул.

Они удивленно остановились.

— Тише,— сказал я.

Барнс схватил меня за плечо.

— Ты что, сопротивляешься закону?

— Нет,— сказал я.— Я даже не стану спрашивать у тебя ордер на это вторжение. Я хочу только, чтобы вы соблюдали тишину.

Услышав грохот шагов, читатели вскочили. Я слегка помахал рукой. Все опять усадились и уже не поднимали глаз, зато люди, втиснутые в черную, перепачканную сажей форму, пилили на меня глаза, словно не могли поверить моим предупреждениям. Барнс кивнул. И они тихонько, на цыпочках двинулись по просторным залам библиотеки. С величайшей осторожностью, всячески стараясь не шуметь, подняли оконные рамы. Неслышно ступая, переговариваясь шепотом, снимали книги с полок и швыряли вниз, в вечеряющий двор. То и дело они злобно косились на тех, кто по-прежнему невозмутимо перелистывал страницы, однако не пытались вырвать книги у них из рук и лишь продолжали опустошать полки.

— Хорошо,— сказал я.

— Хорошо? — переспросил Барнс.

— Твои люди справляются и без тебя. Можешь позволить себе маленькую передышку.

И я вышел в сумерки таким быстрым шагом, что Барнсу, которого распирало от незадаанных вопросов, оставалось только поспевать за мной. Мы пересекли зеленую лужайку, здесь уже разинула жадную пасть огромная походная Адская топка — приземистая, обмазанная смолой черная печь, из которой рвались красно-рыжие и пронзительно синие языки огня; а из окон библиотеки неслись драгоценные стаи вольных птиц, наши дикие голуби взмывали в безумном полете и падали наземь с перебитыми крыльями; люди Барнса обливали их керосином, сгребали лопатами и совали в алчное жерло. Мы прошли мимо этой разрушительной, хоть и красочной техники, и Джонатан Барнс озадаченно заметил:

— Забавно. Такое дело, должен бы собраться народ... А народу нет. Отчего это, по-твоему?

Я пошел прочь. Ему пришлось догонять меня бегом.

В маленьком кафе через дорогу мы заняли столик, и Джо-

патан Барнс (он и сам не мог бы объяснить, почему злится) закричал:

— Поживей там! Меня ждет работа!

Подошел Уолтер, хозяин, с потрепанным меню в руках. Поглядел на меня. Я ему подмигнул.

Уолтер поглядел на Барнса.

— «Приди ко мне, о мой любимый, с тобой все радости вкусим мы»,— сказал Уолтер.

Барнс захлопал глазами:

— Что такое?

— «Зови меня Измаилом»,— сказал Уолтер.

— Для начала дай нам кофе, Измаил,— сказал я.

Уолтер пошел и принес кофе.

— «Тигр, о тигр, светло горящий в глубине полночной чащи!»— сказал он и преспокойно пошел прочь.

Барнс круглыми глазами посмотрел ему вслед.

— Чего это он? Чокнутый, что ли?

— Нет,— сказал я.— Так ты договори, что начал в библиотеке. Объясни.

— Объяснить?— повторил Барнс.— До чего ж вы все обожаете рассуждать. Ладно, объясню. Это грандиозный эксперимент. Взяли город на пробу. Если удастся сжечь здесь, так удастся повсюду. И мы не все подряд жжем, ничего подобного. Ты заметил? Мои люди очищают только некоторые полки, некоторые отделы. Мы выпотрошим примерно сорок девять процентов и две десятых. И потом доложим о наших успехах Высшей правительственной комиссии...

— Великолепно,— сказал я.

Барнс уставился на меня:

— С чего это ты радуешься?

— Для всякой библиотеки головоломная задача — где разместить книги,— сказал я.— А ты мне помог ее решить.

— Я думал, ты... испугаешься.

— Я весь век прожил среди Мусорщиков.

— Как ты сказал?!

— Жечь значит жечь. Кто этим занимается, тот Мусорщик.

— Я Главный Блюститель города Гринтауна, штат Иллинойс, черт подери!

Появилось новое лицо — официант с дымящимся кофейником.

— Привет, Китс,— сказал я.

— «Пора туманов, зрелости полей»,— отозвался официант.

— Китс?— переспросил Главный Блюститель.— Его фамилия не Китс.

— Как глупо с моей стороны,— сказал я.— Это же греческий ресторан. Верно, Платон?

Официант налил мне еще кофе.

— «У народов всегда находится какой-нибудь герой, которого они поднимают над собою и возводят в великие... Таков единственный корень, из коего произрастает тиран; вначале же он предстает как защитник».

Барнс подался вперед и подозрительно поглядел на официанта, но тот не шелохнулся. Тогда Барнс принялся усердно дуть на кофе.

— Я так считаю, наш план прост, как дважды два,— сказал он.

— «Я еще не встречал математика, способного рассуждать здраво»,— промолвил официант.

— К чертям!— Со стуком Барнс отставил чашку.— Никакого покоя нет! Убирайся отсюда, пока мы не поели, ты, как тебя — Китс, Платон, Холдридж... Ага, вспомнил! Холдридж, вот как твоя фамилия!.. А что еще он тут болтал?

— Так,— сказал я.— Фантазия. Просто выдумки.

— К чертям фантазию, к дьяволу выдумки, можешь есть один, я уйду, хватит с меня этого сумасшедшего дома!

И он залпом допил кофе, официант и хозяин смотрели, как он пьет, и я тоже смотрел, а напротив, через дорогу, в чреве чудовищной топки полыхало неистовое пламя. Мы молчали, только смотрели, и под нашими взглядами Барнс наконец застыл с чашкой в руке, по его подбородку стекали капли кофе.

— Ну, чего вы? Почему не подняли крик? Почему не деретесь со мной?

— А я дерусь,— сказал я и вытащил томик Демосфена. Вырвал страницу, показал Барнсу имя автора, свернул листок наподобие лучшей гаванской сигары, зажег, пустил струю дыма и сказал: «Если даже человек избегнул всех других опасностей, никогда ему не избежать всецело людей, которые не желают, чтобы жили на свете подобные ему».

Барнс с воплем вскочил, и вот, в мгновение ока, сигара выхвачена у меня изо рта и растоптана, и Главный Блюститель уже за дверью.

Мне оставалось только последовать за ним.

На тротуаре он столкнулся со стариком, который собирался войти в кафе. Старик едва не упал. Я поддержал его под руку.

— Здравствуйте, профессор Эйнштейн,— сказал я.

— Здравствуйте, мистер Шекспир,— отозвался он.

Барнс сбежал.

Я нашел его на лужайке подле старинного прекрасного здания нашей библиотеки; черные люди, от которых при каждом движении исходил керосиновый дух, все еще собирали здесь обильную жатву: лужайку устилали подстреленные на

лету книги-голуби, умирающие книги-фазаны, щедрое осыпание золото и серебро, осыпавшееся с высоких окон. Но... их собирали без шума. И пока длилась эта тихая, почти безмятежная пантомима, Барнс исходил беззвучным воплем; он стиснул этот вопль зубами, зажал губами, языком, затолкал за щеки, вбил себе поглубже в глотку, чтобы никто не услышал. Но вопль рвался вспышками из его бешеных глаз, копился в узловатых кулаках — дадут ли наконец разрядиться? — прорывался краской в лицо, и оно поминутно бледнело и вновь багровело, когда он бросал свирепые взгляды то на меня, то на кафе, на проклятого хозяина и наводящего ужас официанта, который в ответ приветливо махнул ему рукой. Огненное идолище, урча, пожирало свою пищу и пятнало гас-пущими искрами лужайку. Барнс не мигая глядел прямо в это слепое желто-красное солнце, в ненасытную утробу чудовища.

— Послушайте, вы, — непринужденно окликнул я, и люди в черном приостановились. — По распоряжению муниципалитета библиотека закрывается ровно в девять. Попрошу к этому времени кончить. Мне не хотелось бы нарушать закон... Добрый вечер, мистер Линкольн.

— «Восемьдесят семь лет...» — сказал, проходя, тот, к кому я обращался.

— Линкольн? — Главный Блуститель медленно обернулся. — Это Боумен, Чарли Боумен. Я тебя знаю, Чарли, поди сюда! Чарли! Чак!

Но тот уже скрылся из виду; в печи пылали все новые книги; мимо проезжали машины, порой кто-нибудь меня окликал, и я отзывался; и звучало ли «Мистер По!» или просто «Привет!», или какой-нибудь хмурый маленький иностранец оборачивался, к примеру, на имя «Фрейд», — всякий раз, как я весело окликал их и они отвечали, Барнса передергивало, будто еще одна стрела глубоко вонзалась в эту трясущуюся тушу и он медленно умирал, втайне истекая огнем и безысходной яростью. А толпа так и не собралась, никого не привлекла необычная суматоха.

Внезапно, безо всякой видимой причины, Барнс крепко зажмурился, разинул рот, набрал побольше воздуха и заорал:

— Стойте!

Люди в черном перестали швырять книги из окна.

— Но ведь закрывать еще рано, — сказал я.

— Пора закрывать! Выходите все!

Глаза Джонатана Барнса зияли пустотой. Зрачки стали словно бездонные ямы. Он хватал руками воздух. Судорожно дернул ими книзу. И все оконные рамы со стуком опустились, точно нож гильотины, только стекла зазвенели.

Черные люди в совершенном недоумении вышли из библиотеки.

— Вот, Главный Блюститель,— сказал я и протянул ему ключ; он не хотел брать, и я насильно сунул ключ ему в руку.— Приходите опять завтра с утра, соблюдайте тишину и заканчивайте свое дело.

Глаза Главного Блюстителя, пустые, словно пробитые пулями дыры, шарили вокруг и не видели меня.

— И давно... давно это тянется?

— Что *это*?

— Это... и все... и *они*.

Он тщетно пытался кивком показать на кафе, на скользящие мимо автомобили, на спокойных читателей, которые уже выходили из теплых залов библиотеки и кивали мне на прощанье, и скрывались в холодном вечернем сумраке, все до единого — друзья. Его пустой взгляд, взгляд слепца, незряче пронизывал меня. С трудом зашевелился окаменелый язык:

— Может, вы все надеетесь меня провести? Меня? Меня?!

Я не ответил.

— Почему ты знаешь,— продолжал он,— может, я и людей стану жечь, не одни книги?

Я не ответил.

Я ушел и оставил его в темноте.

В зале я стал принимать последние книги у читателей, они уже расходились, ведь наступил вечер и всюду сгустились тени; огромный механический идол изрыгал клубы дыма, огонь его угасал в весенней траве, а Главный Блюститель стоял рядом, точно истукан из цемента, и не замечал, как отъезжают его люди. Внезапно он вскинул кулак. Что-то блеснуло, взлетело вверх, со звоном треснуло стекло входной двери. Барнс повернулся и зашагал вслед за походной печью, она уже тяжело катила прочь — приземистая черная погребальная урна, что тянула за собою длинные развевающиеся ленты плотного черного дыма, полосы быстро тающего траурного крепа.

Я сидел и слушал.

В дальних комнатах, налитых мягким зеленым светом, точно лесная чаща, так славно, по-осеннему шуршат листья, пронесется еле слышный вздох, мелькнет еле уловимая усмешка, слабое движение руки, блеснет кольцо, понимающе, по-беличьи зорко глянет чей-то глаз. Меж наполовину опустевших полок пройдет запоздалый путник. В невозмутимой фарфоровой белизне туалетной комнаты потекут воды к далекому тихому морю. Мои люди, мои друзья один за другим уходят из прохладных мраморных стен, от зеленых прогалин, в ночь — и эта ночь много лучше, чем мы могли надеяться.

В девять я вышел из библиотеки и подобрал брошенный ключ. Со мною вышел последний читатель, старый человек; пока я запирал дверь, он глубоко вдохнул вечернюю свежесть, посмотрел на город, на почерневшую пятнами от погасших искр лужайку и спросил:

— Могут они прийти опять?

— Пускай приходят. Мы к этому готовы, не так ли?

Старик взял меня за руку.

— «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок и молодой лев и вол будут вместе...»

Мы спустились с крыльца.

— Добрый вечер, Исая, — сказал я.

— Спокойной ночи, мистер Сократ, — сказал он.

И в темноте каждый пошел своей дорогой.

О СКИТАНИЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ

Семьдесят лет кряду Генри Уильям Филд писал рассказы, которых никто никогда не печатал, и вот однажды в половине двенадцатого ночи он поднялся и сжег десять миллионов слов. Отнес все рукописи в подвал своего мрачного старого особняка, в котельную, и швырнул в печь.

— Вот и все, — сказал он, и, раздумывая о своих напрасных трудах и загубленной жизни, вернулся в спальню, полную всяческих антикварных диковинок, и лег в постель. — Зря я пытался изобразить наш безумный мир, это была ошибка. Год 2257, ракеты, атомные чудеса, странствия к чужим планетам и двойным солнцам. Кому же это под силу! Пробовали-то все. И ни у одного современного автора ничего не вышло.

Космос слишком необъятен, думал он, межзвездные корабли слишком быстры, открытия атомной науки слишком внезапны. Но другие с грехом пополам все же печатались, а он, богатый и праздный, всю жизнь потратил впустую.

Целый час он терзался такими мыслями, а потом побрел через ночные комнаты в библиотеку и зажег фонарь. Среди книг, к которым полвека никто не прикасался, он наудачу выбрал одну. Книге минуло три столетия, ветхие страницы пожелтели, но он впился в эту книгу и жадно читал до самого рассвета...

В девять утра Генри Уильям Филд выбежал из библиотеки, кликнул слуг, вызвал по телевизору юристов, друзей, ученых, литераторов.

— Приезжайте сейчас же! — кричал он.

Не прошло и часу, как у него собралось человек двенадцать; Генри Уильям Филд ждал в кабинете — встрепанный, небритый, до неприличия возбужденный, переполненный каким-то непонятным лихорадочным весельем. Высохшими руками он сжимал толстую книгу и, когда с ним здоровались, только смеялся в ответ.

— Смотрите, — сказал он наконец, — вот книга, ее написал исполин, который родился в Эшвилле, штат Северная Каролина, в тысяча девятьсотом году. Он давно уже обратился в прах, а когда-то написал четыре огромных романа. Он был как ураган. Он вздымал горы и вбирал в себя вихри. Пятнадцатого сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого года он умер в Балтиморе, в больнице Джона Хопкинса, от древней страшной болезни — пневмонии, и после него остался чемодан, набитый рукописями, и все карандашом.

Собравшиеся посмотрели на книгу.

«Взгляни на дом свой, ангел».

Старик Филд выложил на стол еще три книги. «О времени и о реке», «Паутина и скала», «Домой возврата нет».

— Их написал Томас Вулф,— сказал он.— Три столетия он покоится в земле Северной Каролины.

— Неужели же вы созвали нас только затем, чтобы показать книги какого-то мертвеца? — изумились друзья.

— Нет, не только! Я созвал вас, потому что понял: Том Вулф — вот кто нам нужен! Вот человек, созданный для того, чтобы писать о великом, о Времени и Пространстве, о галактиках и космической войне, о метеорах и планетах. Он любил и описывал все вот в таком роде, величественное и грозное. Просто он родился слишком рано. Ему нужен был материал поистине грандиозный, а на Земле он ничего такого не нашел. Ему следовало родиться не сто тысяч дней назад, а сегодня.

— А вы, боюсь, немного опоздали,— заметил профессор Боултон.

— Ну нет! — отрезал старик.— Я-то не дам действительности меня обокрасть. Вы, профессор, ставите опыты с путешествиями во времени. Надеюсь, вы уже в этом месяце достроите свою машину. Вот вам чек, сумму проставьте сами. Если понадобятся еще деньги, скажите только слово. Вы ведь уже путешествовали в прошлое, так?

— Да, на несколько лет назад, но не на столетия...

— А мы добьемся столетий! И вы все,— он обвел присутствующих неистовым сверкающим взглядом,— будете помогать Боултону. Мне необходим Томас Вулф.

Все ахнули.

— Да-да,— подтвердил старик.— Вот что я задумал. Вы доставите мне Вулфа. Сообща мы выполним великую задачу, полет с Земли на Марс будет описан так, как способен это сделать один лишь Томас Вулф!

И все ушли, а Филд остался со своими книгами, он листал ветхие страницы и, кивая, бормотал про себя:

— Да, да, конечно! Том — вот кто нам нужен. Том — самый подходящий парень для этого дела.

Медленно влачился месяц. Дни упорно не желали расставаться с календарем, нескончаемо тянулись недели, и Генри Уильям Филд готов был взвыть от отчаяния.

На исходе месяца он однажды проснулся в полночь. Тре-звонил телефон. В темноте Филд протянул руку.

— Слушаю.

— Говорит профессор Боултон.

— Что скажете?

— Я отбываю через час.

— Отбываете? Куда? Вы что, бросаете работу? Это невозможно!

— Позвольте, мистер Филд. Отбываю — это значит отбываю.

— Так вы и вправду отправляетесь?

— Через час.

— В тысяча девятьсот тридцать восьмой? Пятнадцатое сентября?

— Да.

— Вы точно записали дату? Вдруг вы придете, когда он уже умрет? Смотрите, не опоздайте! Постарайтесь попасть туда загодя, скажем, за час до его смерти.

— Хорошо.

— Я так волнуюсь, насилу держу трубку в руках. Счастливо, Боултон! Доставьте его сюда в целости и сохранности.

— Спасибо, сэр. До свидания.

В трубке щелкнуло.

Генри Уильям Филд лежал без сна, ночь отсчитывала минуты. Он думал о Томе Вулфе как о давно потерянном брате, которого надо поднять невредимым из-под холодного могильного камня, возвратить ему плоть и кровь, горение и слово. И всякий раз он трепетал при мысли о Боултоне — о том, кого ветер Времени уносит вспять, к иным календарям, к иным лицам.

«Том, — в полудреме думал он с бессильной нежностью, словно старик отец, взывающий к любимому, давно потерянному сыну, — Том, где ты сейчас? Приходи, мы тебе поможем, ты непременно должен прийти, ты нам так нужен! Мне это не под силу, Том, и никому из нас, теперешних, не под силу. Раз уж я сам не могу с этим справиться, так хоть помогу тебе. У нас ты можешь играть ракетами, Том, вот тебе звезды — пригоршни цветных стеклышек. Бери все, что душе угодно, у нас все есть. Тебе придется по вкусу наше горение и наши странствия — они созданы для тебя. Мы, нынешние, — жалкие писаки, Том, я всех перечел, и ни один тебя не стоит. Я одолел многое множество их сочинений, Том, и нигде ни на миг не ощутил Пространства — для этого нам нужен ты! Дай же старику то, к чему он стремился всю жизнь, ведь, бог свидетель, я всегда ждал, что сам ли я или кто другой напишет наконец поистине великую книгу о звездах, — и ждал напрасно. Каков ты ни есть сегодня ночью, Том Вулф, покажи, на что ты способен. Эту книгу ты готовился создать. Критики говорят — эта прекрасная книга уже сложилась у тебя в голове, но тут жизнь твоя оборвалась. И вот выпал случай, Том, ты ведь его не упустишь? Ты ведь слушаешься и придешь к нам, придешь сегодня ночью и будешь здесь утром, когда я проснусь? Правда, Том?»

Веки Филда смежились; смолк язык, лихорадочно лепетавший все ту же настойчивую мольбу; уснули губы.

Часы пробили четыре.

Он пробудился ясным трезвым утром и ощутил в груди нарастающий прилив волнения. Он боялся мигнуть — вдруг то, что ждет его где-то в доме, кинется бежать, хлопнет дверью и исчезнет навеки. Он прижал руки к худой старческой груди.

Вдалеке... шаги...

Одна за другой отворялись и затворялись двери. В спальню вошли двое.

Филд слышал их дыхание. И уже различал походку. У одного мелкие аккуратные шажки, точно у паука, — это Боултон. Поступь второго выдает человека рослого, крупного, грузного.

— Том? — вскрикнул старик. Он все еще не открывал глаз.

— Да, — услышал он наконец.

Едва Филд увидел Тома Вулфа, образ, созданный его воображением, лопнул по всем швам, как слишком тесная одежда на большом не по возрасту ребенке.

— Дай я на тебя погляжу, Том Вулф! — снова и снова твердил Филд, неуклюже вылезая из постели. Его трясло. — Да поднимите же шторы, дайте на него посмотреть! Том Вулф, неужели это ты?

Огромный, плотный Том Вулф смотрел на него сверху вниз, растопырив тяжелые руки, чтобы не потерять равновесие в этом незнакомом мире. Он посмотрел на старика, обвел глазами комнату, губы его дрожали.

— Ты совсем такой, как тебя описывали, Том, только больше.

Томас Вулф засмеялся, захохотал во все горло — решил, должно быть, что сошел с ума или видит какой-то нелепый сон; шагнул к старику, дотронулся до него, оглянулся на профессора Боултона, ощущал свои плечи, ноги, осторожно покашлял, приложил ладонь ко лбу.

— Жара больше нет, — сказал он. — Я здоров.

— Конечно, здоров, Том!

— Ну и ночка! — сказал Томас Вулф. — Тяжко мне пришлось. Я думал, ни одному больному на свете не бывало так худо. Вдруг чувствую — плыву — и подумал: ну и жар у меня. Чувствую, меня куда-то несет — и подумал: все, умираю. Подходит ко мне человек. Я подумал — гонец господень. Взял он меня за руки. Чую — электричеством пахнет. Валетел я куда-то вверх, вижу — медный город. Ну, думаю, прибыл. Вот оно, царство небесное, а вот и врата! Окоченел я с головы до ног, будто меня держали в снегу. Смех разбирает, надо мне что-то делать, а то я окончательно решу, что спятил. Вы ведь не господь бог, а? С виду что-то не похоже.

Старик рассмеялся.

— Нет-нет, Том, я не бог, только прикидываюсь. Я Филд. — Он опять засмеялся. — Надо же! Я так говорю, как будто он

может знать, кто такой Филд. Том, я Филд, финансовый туз — кланяйся пониже, целуй руку. Я Генри Филд, мне нравятся твои книги. Я перенес тебя сюда. Подойди-ка.

И он потащил Вулфа к широченному зеркальному окну.

— Видишь в небе огни, Том?

— Да, сэр.

— Фейерверк видишь?

— Вижу.

— Это совсем не то, что ты думаешь, сынок. Нынче не четвертое июля. Не как в твоё время. Теперь у нас каждый день — праздник независимости. Человек объявил, что он свободен от Земли. Власть земного притяжения давным-давно свергнута. Человечество победило. Вон та зеленая «римская свеча» летит на Марс. А тот красный огонек — ракета с Венеры. И еще — видишь, сколько их? — желтые, голубые. Это межпланетные корабли.

Томас Вулф смотрел во все глаза, точно ребенок-великан, замороженный многоцветными огненными чудесами, что сверкают и кружат в июльских сумерках, и вспыхивают, и разрываются с оглушительным треском.

— Какой теперь год?

— Год ракеты. Смотри! — Старик коснулся каких-то растений, и у него под рукой они вдруг расцвели. Цветы были точно белое и голубое пламя. Они пламенели, искрились прохладными удлинёнными лепестками. Венчики их были два фута в поперечнике и холодно голубели, словно осенняя луна. — Это лунные цветы, — сказал Филд. — С обратной стороны Луны. — Он чуть коснулся их, и они осыпались серебряным дождем, брызнули белые искры и растаяли в воздухе. — Год ракеты. Вот тебе подходящее название, Том. Вот почему мы перенесли тебя сюда: ты нам нужен. Ты единственный человек, способный совладать с Солнцем и не обратиться в жалкую горсточку золы. Мы хотим, чтобы ты играл Солнцем как мячом — Солнцем и звездами, и всем, что увидишь по пути на Марс.

— На Марс? — Томас Вулф обернулся, схватил старика за плечо, наклонился, недоверчиво всматриваясь ему в лицо.

— Да. Ты летишь сегодня в шесть.

Старик поднял затрепетавший в воздухе розовый билетик и ждал, когда Том догадается его взять.

Было пять часов.

— Да-да, конечно, я очень ценю все, что вы сделали! — воскликнул Томас Вулф.

— Сядь, Том. Перестань бегать из угла в угол.

— Дайте договорить, мистер Филд, дайте мне кончить, я должен высказать все до конца.

— Мы уже столько часов спорим,— в изнеможении взмолился Филд.

Они проговорили с утреннего завтрака до полудня и с полудня до вечернего чая, переходили из одной комнаты в другую (а их была дюжина) и от одного довода к другому (а их было десять дюжин); обоих бросало в жар и в холод, и снова в жар.

— Все сводится вот к чему,— сказал наконец Томас Вулф.— Не могу я здесь оставаться, мистер Филд. Я должен вернуться. Это не мое время. Вы не имели права вмешиваться...

— Но...

— Моя работа была в самом разгаре, а лучшую свою книгу я еще и не начал — и вдруг вы хватаете меня и переносите на три столетия вперед. Вызовите профессора Боултона, мистер Филд. Пускай он посадит меня в свою машину, какая она ни есть, и отправит обратно в тысяча девятьсот тридцать восьмой, там мое время и мое место. Больше мне от вас ничего не надо.

— Неужели ты не хочешь увидеть Марс?

— Еще как хочу! Но я знаю, это не для меня. Вся моя работа пойдет прахом. На меня навалится груда ощущений, которые я не смогу вместить в мои книги, когда вернусь домой.

— Ты не понимаешь, Том, ты просто не понимаешь.

— Прекрасно понимаю, вы эгоист.

— Эгоист? — переспросил старик.— Да, конечно, и еще какой! Ради себя и ради других.

— Я хочу вернуться домой.

— Послушай, Том...

— Вызовите профессора Боултона!

— Том, я очень не хотел тебе говорить... Я надеялся, что не придется, что в этом не будет нужды. Но ты не оставляешь мне выбора.

Старик протянул руку к завешенной стене, отдернул занавес, открыв большой белый экран, и начал вращать диск, набирая какие-то цифры; экран замерцал, ожил, огни в комнате медленно померкли — и перед глазами возникло кладбище.

— Что вы делаете? — резко спросил Вулф, шагнул вперед и уставился на экран.

— Я совсем этого не хотел,— сказал старик.— Смотри.

Кладбище лежало перед ними в ярком свете летнего полдня. С экрана потянуло жарким запахом летней земли, разогретого гранита, свежестью журчащего по соседству ручья. В ветвях дерева свистела какая-то пичуга. Среди могильных камней кивали алые и желтые цветы, экран двигался, небо поворачивалось, старик вертел диск, увеличивая изображе-

ние... и вот посреди экрапа выросла мрачная гранитная глыба — она растет, близится, заполняет все, они уже ничего больше не видят и не чувствуют, и в полутемной комнате Томас Вулф, подняв глаза, читает высеченные на граните слова — раз, другой, третий, и, задохнувшись, перечитывает вновь, ибо это его имя:

ТОМАС ВУЛФ

и дата его рождения, и дата смерти, и в холодной комнате пахнет душистым зеленым папоротником.

— Выключите, — сказал он.

— Прости, Том.

— Выключите, ну! Не верю я этому.

— Это правда.

Экран почернел, и комнату накрыл полуночный небосвод, она стала склепом, едва чувствовалось последнее дыхание цветов.

— Значит, я уже не проснулся, — сказал Томас Вулф.

— Да. Ты умер тогда, в сентябре тысяча девятьсот тридцать восьмого.

— И не дописал книгу.

— Ее напечатали другие, они отнеслись к ней очень бережно, сделали за тебя все, что надо.

— Я не дописал свою книгу, не дописал!

— Не горюй так.

— Вам легко говорить!

Старик все не зажигал света. Ему не хотелось видеть Тома таким.

— Сядь, сынок.

Молчание.

— Том?

Никакого ответа.

— Сядь, сынок. Хочешь чего-нибудь выпить?

Вздых, потом сдавленное рычание, словно застонал раненый зверь.

— Это несправедливо, нечестно! Мне надо было еще столько сделать!

Он глухо зарыдал.

— Перестань, — сказал старик. — Слушай. Выслушай меня. Ты еще жив, так? Здесь, сейчас — ты живой? Ты дышишь и чувствуешь, верно?

Томас Вулф ответил не сразу:

— Верно.

— Так вот, — в темноте Филд подался вперед. — Я перенес тебя сюда, Том, я даю тебе еще одну возможность. Лишний месяц или около того. Думаешь, я тебя не оплакивал? Я прочел твои книги, а потом увидел надгробный камень, который триста лет точили ветер и дождь, и подумал — такого таланта не стало! Эта мысль меня просто убила, поверь. Просто уби-

ля! Я не жалел денег, лишь бы найти какой-то путь к тебе. Ты получил отсрочку — правда, короткую, очень короткую. Профессор Боултон говорит, если очень повезет, мы сумеем продержаться каналы Времени открытыми два месяца. Он будет держать их для тебя два месяца, но не дольше. За этот срок ты должен написать книгу, Том, ту книгу, которую мечтал написать, — нет-нет, сынок, не ту, которую ты писал для современников, они все умерли и обратились в прах, этого уже не изменить. Нет, теперь ты создашь книгу для нас, живущих, она нам очень-очень нужна. Ты оставишь ее нам ради себя же самого, она будет во всех отношениях выше и лучше твоих прежних книг... ведь ты ее напишешь, Том? Можешь ты на два месяца забыть тот камень, больницу — и писать для нас? Ты напишешь, правда, Том?

Комнату медленно заполнял свет. Том Вулф стоял и смотрел в окно — большой, массивный, а лицо бледное, усталое. Он смотрел на ракеты, что проносились в неярком вечерющем небе.

— Я сперва не понял, что вы для меня сделали, — сказал он. — Вы мне даете еще немного времени, а время мне всего дороже и нужней, оно мне друг и враг, я всегда с ним воевал, и отблагодарить вас я, видно, могу только одним способом. Будь по-вашему. — Он запнулся. — А когда я кончу работу? Что тогда?

— Вернешься в больницу, Том, в тысяча девятьсот тридцать восьмой год.

— Иначе нельзя?

— Мы не можем изменить Время. Мы взяли тебя только на пять минут. И вернем тебя на больничную койку через пять минут после того, как ты ее оставил. Таким образом, мы ничего не нарушим. Все это уже история. Тем, что ты живешь сейчас с нами, в будущем, ты нам не повредишь. Но если ты откажешься вернуться, ты повредишь прошлому, а значит, и будущему, там многое перевернется, будет хаос.

— Два месяца, — сказал Томас Вулф.

— Два месяца.

— А ракета на Марс летит через час?

— Да.

— Мне нужны бумага и карандаши.

— Вот они.

— Надо собираться. До свиданья, мистер Филд.

— Счастливо, Том.

Шесть часов. Заходит солнце. Небо алеет, как вино. В просторном доме тишина. Жарко, но старика знобит, и вот наконец появляется профессор Боултон.

— Ну как, Боултон? Как он себя чувствовал, как держался на космодроме? Да говорите же!

Профессор улыбается.

— Он просто чудище — такой великан, ни один скафандр ему не впору, пришлось спешно делать новый. Жаль, вы не видели, что это было: все-то он обошел, все ощупал, принюхивается, как большой пес, говорит без умолку, глаза круглые, ненасытные. И от всего приходит в восторг — прямо как мальчишка!

— Дай-то бог, дай бог! Боултон, а вы правда продержите его тут два месяца?

Профессор нахмурился.

— Вы же знаете, он не принадлежит нашему времени. Если энергия здесь хоть на миг ослабнет, Вулфа разом притянет обратно в прошлое, как бумажный мячик на резинке. Поверьте, мы всячески стараемся его удержать.

— Это необходимо, поймите! Нельзя, чтобы он вернулся, не докопав книгу! Вы должны...

— Смотрите! — прервал Боултон.

В небо взмыла серебряная ракета.

— Это он? — спросил старик.

— Да, — сказал профессор. — Это Вулф летит на Марс.

— Bravo, Том! — завопил старик, потрясая кулаками над головой. — Задай им жару!

Ракета утонула в вышине, они проводили ее глазами.

К полуночи до них дошли первые страницы.

Генри Уильям Филд сидел у себя в библиотеке. Перед ним на столе гудел аппарат. Аппарат повторял слова, написанные далеко по ту сторону Луны. Он выводил их черным карандашом, в точности воспроизводя торопливые каракули Тома Вулфа, нацарапанные за миллион миль отсюда. Насилу дождавшись, чтобы на стол легла стопка бумажных листов, старик схватил их и принялся читать, а Боултон и слуги стояли и слушали. Он читал о Пространстве и Времени, и о полете, о большом человеке в большом пути, о долгой полночи и о холоде космоса, и о том, как изголодавшийся человек с жадностью поглощает все это и требует еще и еще. Он читал, и каждое слово полно было горения, и грома, и тайны.

Космос — как осень, писал Томас Вулф. И говорил о пустынном мраке, об одиночестве, о том, как мал затерянный в космосе человек. Говорил о вечной, непреходящей осени. И еще — о межпланетном корабле, о том, как пахнет металл и какой он на ощупь, и о чувстве высокой судьбы, о неистовом восторге, с каким наконец-то отрываешься от Земли, оставляешь позади все земные задачи и печали и стремишься к задаче куда более трудной, к печали куда более горькой. Да, это были прекрасные страницы, и они говорили то, что непременно надо было сказать о Вселенной и о человеке и о его крохотных ракетах, затерянных в космосе.

Старик читал, пока не охрип, за ним читал Боултон, потом остальные — до глубокой ночи, когда аппарат перестал писать

и все поняли, что Том уже в постели там, в ракете, летящей на Марс... наверно, он еще не спит, нет, еще долго он не уснет, так и будет лежать без сна, словно мальчишка в канун открытия цирка: ему все не верится, что уже воздвигнут огромный, черный, весь в драгоценных камнях балаган и представление начинается, и десять миллиардов сверкающих акробатов качаются на туго натянутых проволоках, на незримых трапециях Пространства.

— Ну вот! — выдохнул старик, бережно откладывая последние страницы первой главы. — Что вы об этом скажете, Боултон?

— Это хорошо.

— Черта с два хорошо! — заорал Филд. — Это великолепно! Прочтите еще раз, сядьте и прочтите еще раз, черт вас побери!

Так оно и шло, день за днем, по десять часов кряду. На полу росла груда желтоватой исписанной бумаги — за неделю она стала огромной, за две недели неправдоподобной, к концу месяца совершенно немыслимой.

— Вы только послушайте! — кричал Филд и читал вслух.

— А это?! — говорил он.

— А вот еще глава, Боултон, а вот повесть, она только что передана, называется «Космическая война», целая повесть о том, каково это — воевать в космосе. Он говорил с разными людьми, расспрашивал солдат, офицеров, ветеранов Пространства. И обо всем написал. А вот еще глава, называется «Долгая полночь», а эта — о том, как негры заселили Марс, а вот очерк — портрет марсианина, ему просто цены нет!

Боултон откашлялся.

— Мистер Филд...

— После, после, не мешайте.

— Дурные новости, сэр.

Филд вскинул седую голову.

— Что такое? Что-нибудь с Элементом Времени?

— Передайте Вулфу, пускай поторопится, — мягко сказал Боултон. — Вероятно, на этой неделе связь с Прошлым оборвется.

— Я дам вам еще миллион долларов, только поддерживайте ее.

— Дело не в деньгах, мистер Филд. Сейчас все зависит от самой обыкновенной физики. Я сделаю все, что в моих силах. Но вы его предупредите на всякий случай.

Старик съехал в кресле, стал совсем крохотный.

— Неужели вы сейчас отнимете его у меня? Он так великолепно работает! Видели бы вы, какие эскизы он передал только час назад — рассказы, наброски. Вот, вот — это про космические течения, а это — о метеоритах. А вот начало повести под названием «Пушинка и пламя»...

— Что поделаешь...

— Но если мы сейчас его лишимся, может быть, вы сумеете доставить его сюда еще раз?

— Неумеренное вмешательство в Прошлое слишком опасно.

Старик будто окаменел.

— Тогда вот что. Устройте так, чтобы Вулф не тратил ни минуты на канитель с карандашом и бумагой — пускай печатает на машинке либо диктует, словом, позаботьтесь о какой-нибудь механизации. Непременно!

Аппарат стрекотал без устали — за полночь, и потом до рассвета, и весь день напролет. Старик Филд провел бессонную ночь; едва он смежит веки, как аппарат вновь оживает — и он встрепечется, и снова космические просторы и странствия и необъятность бытия хлынут к нему, преображенные мыслью другого человека.

«...бескрайние звездные луга космоса...»

Аппарат запнулся, дрогнул.

— Давай, Том! Покажи им!

Старик застыл в ожидании.

Зазвонил телефон.

Голос Боултона:

— Мы больше не можем поддерживать связь, мистер Филд. Еще минута — и контакт Времени сойдет на нет.

— Сделайте что-нибудь!

— Не могу.

Телетайп дрогнул. Словно заколдованный, похолодев от ужаса, старик Филд следил, как складываются черные строки:

«...марсианские города—изумительные, неправдоподобные, словно камни, снесенные с горных вершин какой-то стремительной, невероятной лавиной и застывшие наконец сверкающими россыпями...»

— Том! — вскрикнул старик.

— Все, — прозвучал в телефонной трубке голос Боултона.

Телетайп помедлил, отстучал еще слово и умолк.

— Том!!! — отчаянно закричал Филд.

Он стал трясти телетайп.

— Бесполезно, — сказал голос в трубке. — Он исчез. Я отключаю Машину Времени.

— Нет! Погодите!

— Но...

— Слышали, что я сказал? Погодите выключать! Может быть, он еще здесь.

— Его больше нет. Это бесполезно, энергия уходит впустую.

— Пускай уходит!

Филд швырнул трубку.

И повернулся к телетайпу, к пезакопченной фразе.

— Ну же, Том, не могут они вот так от тебя отделаться, не поддавайся, мальчик, ну же, продолжай! Докажи им, Том, ты же молодчина, ты больше, чем Время и Пространство и все эти треклятые механизмы, у тебя такая сила, у тебя железная воля, Том, докажи им всем, не давай отправить тебя обратно!

Щелкнула клавиша телетайпа.

— Том, это ты? — вне себя забормотал старик. — Ты еще можешь писать? Пиши, Том, не сдавайся, пока ты не опустил рук, тебя не могут отослать обратно, не могут!!!

«В», — стукнула машина.

— Еще, Том, еще!

«дыхании», — отстучала она.

— Ну, ну?!

«Марса», — напечатала машина и остановилась. Короткая тишина. Щелчок. И машина начала сызнова, с новой строчки:

«В дыхании Марса ощущаешь запах корицы и холодных пряных ветров, тех ветров, что вздымают летучую пыль и омывают нетленные кости, и приносят пыльцу давным-давно отцветших цветов...»

— Том, ты еще жив!

Вместо ответа аппарат еще десять часов кряду взрывался лихорадочными приступами и отстучал шесть глав «Бегства от демонов».

— Сегодня уже полтора месяца, Боултон, целых полтора месяца, как Том полетел на Марс и на астероиды. Смотрите, вот рукописи. Десять тысяч слов в день, он не дает себе передышки, не знаю, когда он спит, успевает ли поесть, да это мне все равно, и ему тоже, ему одно важно — дописать, он ведь знает, что время не ждет.

— Непостижимо, — сказал Боултон. — Наши реле не выдержали, энергия упала. Мы изготовили для главного канала новые реле, которые обеспечивают надежность Элемента Времени, но ведь на это ушло три дня — и все-таки Вулф продержался! Видно, это зависит еще и от его личности, тут действует что-то такое, чего мы не предусмотрели. Здесь, в нашем времени, Вулф живет — и, оказывается, Прошлому не так-то легко его вернуть. Время не так податливо, как мы думали. Мы пользовались неправильным сравнением. Это не резинка. Это больше похоже на диффузию — взаимопроникновение жидких слоев. Прошлое как бы просачивается в Настоящее... Но все равно придется отослать его назад, мы не можем оставить его здесь: в Прошлом образуется пустота, все сместится и спутается. В сущности, Вулфа сейчас удерживает у нас только одно — он сам, его страсть, его работа. Дописав книгу,

он ускользнет из нашего времени так же естественно, как выливается вода из стакана.

— Мне плевать, что, как и почему, — возразил Филд. — Я знаю одно: Том заканчивает свою книгу! У него все тот же талант и вдохновение и есть что-то еще, что-то новое, он ищет ценностей, которые превыше Пространства и Времени. Он написал психологический этюд о женщине, которая остается на Земле, когда отважные космонавты устремляются в Неизвестность, — это прекрасно написано, правдиво и тонко; Том назвал свой этюд «День ракеты», он описал всего лишь один день самой обыкновенной провинциалки, она живет у себя в доме, как жили ее прабабки, — ведет хозяйство, растит детей... невиданный расцвет науки, грохот космических ракет, а ее жизнь почти такая же, как была у женщин в каменном веке. Том правдиво, тщательно и проникновенно описал ее порывы и разочарования. Или вот еще рукопись, называется «Индийцы», тут он пишет о марсианах: они — индейцы космоса, их вытеснили и уничтожили, как в старину индейские племена — чероков, ирокезов, черноногих. Выпейте, Боултон, выпейте!

На исходе второго месяца Том Вулф возвратился на Землю.

Он вернулся в пламени, как в пламени улетал, шагами исполнина он пересек космос и вступил в дом Генри Уильяма Филда, в библиотеку, где на полу громоздились кны желтой бумаги, исчерканной карандашом либо покрытой строчками машинописи: груды эти предстояло разделить на шесть частей, они составляли шедевр, созданный с невероятной быстротой нечеловечески упорным трудом, в постоянном сознании неутомимо уходящих минут.

Том Вулф возвратился на Землю, он стоял в библиотеке Филда и смотрел на громады, рожденные его сердцем и его рукой.

— Хочешь все это прочесть, Том? — спросил старик.

Но он покачал массивной головой, широкой ладонью откинул назад гриву темных волос.

— Нет, — сказал он. — Боюсь начинать. Если начну, захочу взять все это с собой. А мне ведь нельзя это забрать домой, правда?

— Нельзя, Том.

— А очень хочется.

— Ничего не поделаешь, нельзя. В тот год ты не написал нового романа. Что написано здесь, должно здесь и остаться, что написано там, должно остаться там. Ничего нельзя изменить.

— Поппамаю.— С тяжелым вздохом Вулф опустился в кресло.— Устал я. Ужасно устал. Нелегко это было. Но и здорово! Который же сегодня день?

— Шестидесятый.

— Последний?

Старик кивнул, и долгие минуты оба молчали.

— Назад в тысяча девятьсот тридцать восьмой, на кладбище, под камень,— сказал Том Вулф, закрыв глаза.— Не хочется мне. Лучше бы я про это не знал, страшно знать такое...

Голос его замер, он уткнулся лицом в широкие ладони да так и застыл.

Дверь отворилась. Вошел Боултон со склянкой в руках и остановился за креслом Тома Вулфа.

— Что это у вас? — спросил старик Филд.

— Давно уничтоженный вирус,— ответил Боултон.— Пневмония. Очень древний и очень свирепый недуг. Когда мистер Вулф прибыл к нам, мне, разумеется, пришлось его вылечить, чтобы он мог справиться со своей работой; при нашей современной технике это было проще простого. Культуру микроба я сохранил. Теперь, когда мистер Вулф возвращается, надо будет заново привить ему пневмонию.

— А если не привить?

Том Вулф поднял голову.

— Если не привить, в тысяча девятьсот тридцать восьмом году он выздоровеет.

Том Вулф встал.

— То есть как? Выздоровею, встану на ноги — там, у себя,— буду здоров и натяну могильщикам нос?

— Совершенно верно.

Том Вулф уставился на склянку, рука его судорожно дернулась.

— Ну, а если я уничтожу этот ваш вирус и не дамся вам?

— Этого никак нельзя!

— Ну... а если?

— Вы все разрушите.

— Что — все?

— Связь вещей, ход событий, жизнь, всю систему того, что есть и что было, что мы не вправе изменить. Вы не можете все это нарушить. Безусловно одно: вы должны умереть, и я обязан об этом позаботиться.

Вулф поглядел на дверь.

— А если я убегу и вернусь без вашей помощи?

— Машина Времени у нас под контролем. Вам не выйти из этого дома. Я вынужден буду силой вернуть вас сюда и сделать прививку. Я предвидел, что под конец осложнений не миновать, и сейчас вижу наготове пять человек. Стоит мне крикнуть... сами видите, это бесполезно. Ну вот, так-то лучше. Вот так.

Вулф отступил, обернулся, поглядел на старика, в окно, обвел взглядом просторную комнату.

— Простите меня. Очень не хочется умирать. Ох, как не хочется!

Старик подошел, стиснул его руку.

— А ты смотри на это так: тебе удалось небывалое — выиграть у жизни два месяца сверх срока, и ты написал еще одну книгу — последнюю, новую книгу! Подумай об этом — и тебе станет легче.

— Спасибо вам за это, — серьезно сказал Томас Вулф. — Спасибо вам обоим. Я готов. — Он засучил рукав. — Давайте вашу прививку.

И пока Боултон делал свое дело, Вулф свободной рукой взял карандаш и на первом листе первой части рукописи вывел две строчки, потом вновь заговорил:

— В одной моей старой книге есть такое место, — он нахмурился, вспоминая: — «...о скитаньях вечных и о Земле... Кто владеет Землей? И для чего нам Земля? Чтобы скитаться по ней? Для того ли нам Земля, чтобы не знать на ней покоя? Всякий, кому нужна Земля, обретет ее, останется на ней, успокоится на малом клочке и пребудет в тесном уголке ее во веки...»

Вулф минуту помолчал.

— Вот она, моя последняя книга, — сказал он потом и на чистом желтом листе огромными черными буквами, с силой нажимая карандашом, вывел:

ТОМАС ВУЛФ — О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ.

Он схватил кипу исписанных листов, на миг прижал к груди.

— Хотел бы я забрать ее с собой. Точно расстаешься с родным сыном!

Отложил рукопись, хлопнул по ней ладонью, наскоро пожал руку Филда и зашагал к двери; Боултон двинулся за ним. На пороге Вулф остановился, озаренный предвечерним солнцем, огромный, величественный.

— Прощайте! — крикнул он. — Прощайте!

Хлопнула дверь. Том Вулф исчез.

Наконец его нашли, он брел по больничному коридору.

— Мистер Вулф!

— Да?

— Ну и напугали вы нас, мистер Вулф, мы уж думали, вы исчезли!

— Исчез?

— Где вы пропадали?

— Где? Где пропадаю? — Его вели полуночными коридора-

ми, он покорно шел.— Ого, если б я и сказал вам, где... все равно вы не поверите.

— Вот и ваша кровать, напрасно вы встали.

И он опустился на белое смертное ложе, от которого исходило слабое чистое веяние уготованного ему конца, близкого конца, пахнущего больницей; он едва коснулся этого ложа — и оно поглотило его, окутало больничным запахом и холодной крахмальной белизной.

— Марс, Марс,— шептал исполня в тишине ночи.— Моя лучшая, самая лучшая, подлинно прекрасная книга, она еще будет написана, будет напечатана, в иной год, через три столетия...

— Вы слишком возбуждены.

— Вы думаете? — пробормотал Томас Вулф.— Так это был сон? Может быть... Хороший сон...

Его дыхание оборвалось. Томас Вулф был мертв.

Идут годы, на могиле Тома Вулфа опять и опять появляются цветы. И казалось бы, что тут странного, ведь немало народу приходит ему поклониться. Но эти цветы появляются каждую ночь. Будто с неба падают. Огромные, цвета осенней луны, они пламенеют, искрятся прохладными удлинненными лепестками, они словно белое и голубое пламя. А едва подует предраассветный ветер, они осыпаются серебряным дождем, брызжут белые искры и тают в воздухе. Прошло уже много, много лет с того дня, как умер Том Вулф, а цветы появляются вновь и вновь...

ЛУЧЕЗАРНЫЙ ФЕНИКС

Составитель
Р. Л. Рыбкин
Художники
А. А. Кирсанов,
Ю. К. Курбатов
(макет)
Редактор
Э. Б. Кузьмина
Художественный редактор
А. Н. Жилин
Технический редактор
А. Э. Коган
Корректор
Н. И. Балакирева

ИБ № 481

Сдано в набор 20.11.78.
Подписано в печать 30.03.79. А 03798.
Формат 84×108¹/₃₂. Бум. тип. № 1.
Гарнитура обыкновенная новая. Высокая печать.
Усл. печ. л. 11,78. Уч.-над л. 11,68
Тираж 85 000 экз. Заказ 876. Изд. № 2517.
Цена 1 р. 20 к.
Издательство «Книга», Москва, К-9, ул. Неждановой, 8/10
Тульская типография Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
Тула, проспект Ленина, 109,

Л 87 Лучезарный феникс: Зарубежные писатели о книге, чтении, библиофильстве /Сост. Р. Л. Рыбкин.— М.: Книга, 1979.—224 с.

Это первая в наши дни в нашей стране антология рассказов о книге. Группа рассказов рисует читательский спектр — от страстных библиофилов А. Франса до снобов Чесната, от одержимого книжника С. Цвейга до простого крестьянина из притчи В. Кауэра. Судьбу книги и читателя в будущем пытаются предугадать А. Азимов и Ст. Лем. О странностях и парадоксах рождения книги — миниатюры К. Чапека, Ж. Бэра, К. Морли. О книге воинствующей, борющейся—очерк Э. Кестнера, рассказы К. Фиалковского, Р. Брэбери.

Представлены писатели Англии и Франции, Бельгии и Италии, Чехословакии и Польши, ГДР и Австрии, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки.

Для читателей-книголюбков.

70304-054
Р ————— 1.79. 4703000000
002(01)-79

84(3)

